

Лауреат премий  
“Большая книга”, “Русский Букер”,  
“Национальный бестселлер”

Михаил Шишкин

Записки  
Ларионова



**ШЕ**  
РЕДАКЦИЯ  
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ



Михаил Шишкин: Уроки каллиграфии

Михаил Шишкин  
**Записки Ларионова**

«Издательство АСТ»

2010, 2019

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Шишкин М. П.**

Записки Ларионова / М. П. Шишкин — «Издательство АСТ»,  
2010, 2019 — (Михаил Шишкин: Уроки каллиграфии)

ISBN 978-5-17-121177-6

На долю помещика Ларионова выпали и счастливое детство в родительской усадьбе, и учеба в кадетском корпусе, и военная служба при Аракчееве, и тихая помещичья жизнь, и чиновничество в губернском городе. Его судьбой могли заинтересоваться Пушкин, Гончаров или Тургенев... но сюжет подхвачен через две сотни лет Михаилом Шишкиным.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-121177-6

© Шишкин М. П., 2010, 2019  
© Издательство АСТ, 2010, 2019

## Содержание

Первая тетрадь	5
Конец ознакомительного фрагмента.	35

# Михаил Шишкин

## Записки Ларионова

### Первая тетрадь

Добрый мой Алексей Алексеевич!

Вот перед Вами на листках не лучшей бумаги, исписанных старозаветным почерком, история моей жизни.

Сейчас, когда я пишу эти строки, рукопись не завершена, до конца еще далеко, но мне хотелось бы все объяснить Вам теперь, не дожидаясь последней точки. Я стар и болен, и мало ли что может случиться. *Omnes una manet nox*<sup>1</sup>, – как написал когда-то Гораций.

Дожив до седин, я прекрасно понимаю всю необязательность этого труда. Он был вызван к жизни, поверьте, лишь долгими зимними вечерами, вынужденным деревенским бездельем да одиночеством. Смешно, подобно наивному мемуаристу, думать осчастливить мир изложением подробностей чьей-то далекой чужой жизни, до которых никому нет никакого дела и которые лишь в самом авторе способны возбудить печаль или радость воспоминаний да учащенное биение сердца от какой-нибудь неловкости, или признания, или анекдота, приключившегося с ним Бог знает когда. Чтобы писать мемуары, надобно выслужиться у истории, а я в этой службе не выбился и в унтеры, сами знаете. Мировые бури обошли стороной мой домик, занесенный снегом по самые окна. Великие люди представляли предо мной большей частью в литографированном виде. Сам я в жизни, хоть прожил ее просто и честно, ничего выдающегося не совершил, чтобы заслужить благодарность потомков.

Считайте, что я пишу эти записки, последовав Вашему шутивому совету. Помните, в один из приездов Вы утверждали за травничком, что составление мемуаров благотворно для организма? Как всякий уездный доктор, Вы любую мысль или чувство готовы приписать действию пищи или газов. Видно, совсем плохо дело пациента, если ему прописывают подобный рецепт.

Милый мой Алексей Алексеевич, Вы не представляете себе, как я огорчился, узнав о Вашем скором переезде в столицу, хоть и рад искренне, что Вы наконец женитесь, и надеюсь, что счастливо. Вы сожалели, что придется покинуть наши края, вполне, впрочем, притворно, но я Вам верил. Как объяснить Вам, кем Вы стали для меня за эти годы? Невозможно рассказать, что значат Ваши приезды для человека, чье жизненное пространство ограничено лишь двумя комнатами, – другие не топятся из экономии, а кругом зима. В провинции исчисляют время почтовыми днями, но я давно забыл, когда они у нас. Так уж получилось, мой добрый доктор, что Ваши приезды, участвовавшие в последний год, Ваши рассуждения о политике, о нынешней беллетристике, даже уездные сплетни сделались для меня важнее всех Ваших наперстянок, диет, шпанских мушек и омерзительных микстур, которыми у меня заставлен целый стол.

Я сделал уже необходимые распоряжения. Тетради лежат в верхнем ящике бюро. Их отошлю Вам. Не обижайтесь, милый Алексей Алексеевич, ведь Вы сами виноваты, что приручили к себе одинокого старика, раздутого водянкой.

Еще я распорядился, чтобы Вам послали мой письменный прибор. Не считите за старческий каприз, но мне будет приятно, если Вы поставите эту старинную безделку у себя на столе. Может, хоть изредка будете, глядя на нее, вспоминать наши забавные беседы, да, как некогда, щелкать по носу то пастушка с чернильницей, то пастушку с песочницей.

---

<sup>1</sup> Всех ожидает одна ночь (лат.).

Остаюсь Ваш

*Александр Львович Ларионов*

Я родился в третий год нашего странного века, века великих изобретений, великих помыслов, великих мятежей и великого порядка. Родился на самую Пасху. Пасхальное дитя и вправду принесло матушке счастье долголетнего материнства – все мои старшие братья и сестры умирали в младенчестве. И неудивительно, что матушка баловала меня. В белокуром ангелочке, чудом выжившем, она видела весь немногий смысл своего существования.

Мой отец, малодушный, как тогда говорили, помещик, имел деревеньку в Барышенском уезде Симбирской губернии, который и сейчас не в любви у просвещения и прогресса, а тогда и вовсе был край дикий, звериный, и в лесах, как рассказывали мамки, перед каждым голодным годом появлялось множество грибов.

Вот там, в Стоговке, а вернее сказать, здесь, ибо за окном тот же сад, в саду виден сейчас, когда нет листьев, тот же дуб, да все то же, хотя прошла целая жизнь, я и родился и пишу сейчас эти строки. Стежок был невелик, и иголка вернулась к узелку.

Я был ребенком слабым, болезненным, золотушного расположения и, как уже сказал, жизнью своею обязан чудесному исцелению. Матушка показывала меня всем докторам, которых злая судьба забрасывала в нашу тьмутаракань, и часто возила для того же в Симбирск, но все без видимого успеха. То ли заезжие немцы-доктора были плохи, то ли туземные аптекари, их одичавшие в России родичи, неумело варили декокты, так или иначе толку от их лечения было мало. И если бы не моя добрая тетушка Елизавета Петровна, старая девушка с костылем и черепаховой табакеркой, с которой никогда не расставалась, как знать, не убежал бы из родительского дома и этот тщедушный мальчик туда, откуда протягивали ему руки братья и сестры.

По Симбирску в то время бряцал цепями юродивый Андреюшка, злой дурачок, лаявший на всех и евший только с земли, стоя на четвереньках. Я, конечно, ничего этого не помню, но, по преданию, тетушка втайне от моего отца, человека особенного, но о нем еще впереди, притащила меня к Андреюшке, и тот наказал поить меня болотной водицей. И что же? Согласно любимой тетушкиной мудрости – что немцу смерть, то русскому здорово, – я выздоровел.

Омерзительный вкус вонючей зеленой жидкости, которую вливали мне в рот, разжимая зубы ложкой, и сейчас живет у меня где-то под языком.

Отец мой был чем-то сильно обижен в предыдущее царствование. История эта держалась от меня, да и от всех соседей и родственников в тайне. Все знали лишь только, что мой отец, будучи человеком гордым и с честью, правда, как убеждала тетка свою сестру, неправильно понятой, вдруг оставил службу, а он был гвардейским офицером, заперся у себя в деревне и стал ничего не делать, будто мстил кому-то своей неудавшейся жизнью. Ему предлагали служить по выборам, он отказался. Советовали заняться имением, он отдал все хозяйство в руки старосты-вора. Он опустил, был неопрятен, ходил круглый год в халате и обрезанных валенках, не хотел никого видеть, ни с кем знаться, переругался с соседями, с губернским и уездным начальством и ненавидел, кажется, всех на свете, а больше всего мою мать.

Видно, матушка искала утешения у моей кровати, затянутой парусиной, потому что помню ее ночью, в темноте, в слезах. Очень хорошо вижу капли и на щеках, и на носу, и на ее руках, потому что из окна падал свет луны. Не понимая, отчего она рыдает, и не веря в объяснение о порошок-плакунчике, который помогает от мигрени, я сам принимался плакать вместе с ней, и так, прижимаясь друг к другу, мы на пару были на луну, пока не открывалась дверь из соседней комнаты, вот этой, в которой я сейчас пишу эти строки. На пороге стоял мой отец, взъерошенный, страшный, с подушкой на плече – он всегда, чтобы уснуть, накрывал голову еще одной подушкой, – и говорил что-то грубое, жестокое. Матушка быстро укладывала меня, и их ссоры за дверью продолжались иногда до утра.

Отца часто охватывали приступы беспричинного гнева. Точнее, все начиналось с пустяка, например, из-за нечаянного сквозняка, или с того, что матушка, чтобы как-то развеять отца, начинала рассуждать о европейской войне, или просто он не мог найти очки. Тогда лицо вдруг наливалось кровью, глаза мутнели, рот кривился, руки дрожали. Он начинал что-то выкрикивать, бегать по комнатам, бить посуду, часто доставалось и матушке, которая пыталась его успокоить. Когда у отца начинался приступ, меня запирали в детской или няньки поскорее уходили со мной гулять куда-нибудь подальше. Припадки эти заканчивались обычно одинаково. Приходили конюхи, два здоровенных мужика, и, зная свое дело, почтительно, но уверенно скручивали его и вязали кушаками по рукам и ногам. Отец дрался, пытался вырваться, лягался, кусался, кричал, ругался самыми площадными словами. Его осторожно клали на диван, обкладывали со всех сторон подушками, чтобы он не ударился головой. Так отец бился, связанный в подушках, иногда с целый час. Потом крики превращались в хрип и постепенно переходили в бессильные рыдания. Отца развязывали, и он долго лежал в объятиях матушки, совсем по-детски всхлипывая, а она гладила его редкие седые волосы и молчала. Потом отец сам давал конюхам по полтине и уходил во двор. После своих припадков он обычно подолгу бродил по окрестностям, угрюмый, всклокоченный.

Не знаю, любила ли матушка отца. Мне кажется – да, несмотря на то что ее жизнь в этом доме состояла из одних унижений. Она пыталась как-то спасти мужа, не дать ему окончательно опуститься, выписывала книги, старалась приглашать в дом гостей, но книги оставались неразрезанными, а знакомства благодаря выходкам отца перевелись. К тому же в последние годы он все чаще стал предупреждать свои приступы водкой, но это снадобье только еще сильнее распалило его.

Мне хорошо запомнился тот последний раз, когда у нас были гости, как раз на матушкины именины, на Татьянин день. Накануне она целый вечер проговорила с отцом в его кабинете. Я слышал из-за дверей, как она плакала и просила его о чем-то и он поклялся, что выполнит ее просьбу. Я поразился, что, когда отец вышел, на его глазах тоже были слезы.

Помню, что матушка сильно волновалась и, когда стали приезжать гости, неестественно громко смеялась, краснела, чересчур восхищалась подарками, а сама все поглядывала на двери, из которых должен был выйти отец. Матушка развлекала гостей мною, что удавалось не без труда. Я был ребенком-букою, глядел на чужих исподлобья и, когда меня водили в гостиную показывать, упирался ногами в пол, цеплялся за что мог. Пока я декламировал французские стишата, специально выученные к этому вечеру, и меня тискали, трепали, гладили, матушка исчезала за той дверью и возвращалась, растерянно улыбаясь. Наконец она извинилась, что мужу нездоровится, и все стали усаживаться за стол.

Говор начал стихать как-то постепенно, с того конца залы. Все обернулись. В дверях стоял отец в своем засаленном халате и валенках. В руке он держал за воротник мундир, который матушка ему приготовила, чтобы одеться. Все молча смотрели на него. Отец медленно подошел к столу, волоча мундир за собой по полу. Я видел, как глаза его мутнеют, лицо сделалось красным, рот скривился. Он провел тяжелым взглядом по сидевшим за столом, глянул на императорские портреты, появившиеся к приходу гостей, и как-то неприятно улыбнулся. Потом схватил край скатерти в кулак, сдернул все, что стояло на столе, на пол и молча зашаркал к себе.

После тех именин матушка долго болела. Подобные сцены не проходили даром и имели следствием ее повышенную раздражительность и нервную болезнь, от которой так страдала матушка в старости. В конце жизни она не могла спать лежа. Когда ложилась, матушка начинала задыхаться и потому все ночи проводила в кресле, очень от этого мучилась и так и умерла сидя.

Единственным человеком, не прервавшим отношений с нашим неприветливым домом, была моя хромая тетка. Я очень любил ее за всякие пряники. Они были то в форме рыбки,

а хвостик колечком с дырочкой, то в виде лошадки, а то и просто пряник изображал какое-нибудь чудо-юдо. Покупались они у обыкновенных разносчиков на симбирском Венце, но мне казалось, что у тетюшки их несметное количество и хранит она их где-нибудь в подвале, в сундуках. Еще больше я любил бывать в ее комнатах нашего симбирского дома. Тетка устраивалась под небольшой картиной в раме за стеклом, изображавшей наше родословное древо, и начинала свои рассказы о моих славных предках. Она очень путано, то и дело поправляя сама себя, объясняла, кто кому кем приходится, все время оборачивалась, и лорнет отбивал дробь по стеклу. На картине был представлен рыцарь в полном вооружении, в латах, в шлеме с опущенным забралом, распростертый на земле. Из его живота рос дуб с густыми ветвями, увенчанными вместо желудей небольшими медальонами. В них мелкой вязью были вписаны имена. Из тетюшкиных сбивчивых пояснений я понимал лишь то, что вся эта уйма людей рождалась, женилась и умирала для того только, чтобы на верхней тонкой веточке, где настойчивее всего барабанил по стеклу лорнет, появился еще один желудь под именем Александра Львовича Ларионова, то бишь белокурого крошки Сашеньки, любителя пряников, которому предстояло прожить жизнь большую и, как предполагалось, славную.

Тетка Елизавета Петровна вмешивалась в жизнь нашего дома безуспешно, но самоотверженно. Видя на моей матушке следы побоев, она всякий раз устраивала отцу скандалы, которые, впрочем, он переносил хладнокровно, не вступая со свояченицей в пререкания. Иногда лишь он перебивал ее неожиданными замечаниями: то вдруг ругался, что табак никуда не годится, то принимался отковыривать с рукава пролитый воск, бормоча себе что-то под нос, то с размаха бил себя по лбу, будто забыл о чем-то, а теперь только вспомнил, этими выходками он выводил ее из себя, и бедная тетка стучала об пол костылем, трясла буклями, кричала, что ненавидит его, что он загубил моей матушке жизнь, что жить надо по-людски, а не по-совиному, и ее обычно хрипловатый добродушный басок переходил в почти кошачий визг.

Когда отцу надоедало слушать ее проклятия и увещеванья, он просто уходил, не извинившись и не попрощавшись, разве что громко делано зевнув.

Елизавета Петровна настаивала на том, чтобы мы с матушкой переехали жить от отца к ней. Моя мать обещала, что еще одно унижение, и она обязательно переедет, но не переезжала, а скандалы часто оканчивались тем, что матушка, только что в слезах жаловавшаяся сестре на мужа, вдруг принимала его сторону и начинала с горячностью защищать своего мучителя. Тогда Елизавета Петровна дрожащими от возмущения пальцами принималась постукивать по бокам и крышке своей черепаховой табакерки, забирала из нее огромную щепоть и, запрокинув голову, с особым вывертом подставляла большой палец то к одной, то к другой ноздре, громко и с храпом внюхивая в себя табак. Потом она долго отряхала с себя просыпавшуюся на кружева пыльцу и наконец что есть силы била костылем об пол, вскакивала и, обозвав сестру дурой, уезжала.

Помню, что от тетюшкиных рук всегда разило смесью духов с табачищем, а когда она входила с мороза, табак капал из носа в виде густо окрашенной влаги.

Пытаюсь вспомнить детство, а вспоминаются лишь какие-то картинки, ничем не связанные, да и не имеющие никакого значения. Вот меня катают по саду на повозочке, вот нянька вертит хрустальную подвеску, упавшую с люстры, забавляя дитяню зайчиками, вот выставляют зимние рамы и бегают девки с тазами горячей, дымящейся воды. Вот я листаю Палласово “Путешествие по России” в толстом кожаном переплете, помню лопаря, самоеда и нагую чукотскую бабу. Помню детский утренник, окончившийся слезами, – мы чуть не передрались из-за пирожных, всем хотелось лимонного, сделанного в форме с пустотой в середине, куда помещался зажженный огарок свечи. Помню, как нянька, измучившись со мною в отсутствие матушки, говорила, что баловники спят стоя, и заставляла меня стоять рядом с кроваткой, сложив под щекой ладошки.



Детская память капризна. Какую-нибудь ерунду, например, сверкнувший на солнце полумпериал в зарослях крапивы у ледника, помнишь всю жизнь, а что-то важное, что должно было обязательно зацепиться в памяти, исчезло, выпотело, будто ничего и не было. От великой войны, всколыхнувшей Россию, остался лишь встревоженный разговор взрослых за чаем – говорили о какой-то измене, о шпионах, о том, что высылают иностранцев, да еще запомнились сильные морозы той исторической зимы. Помню, как делали снеговую горку, но трудно было поливать ее – бросаешь из ковша вверх воду, а она падает в виде града.

Помню первую в моей жизни смерть. Мой дядька Николай Макарович славился тем, что за всю свою жизнь ни разу не был болен, а если и случалось ему чувствовать себя нездоровым, то в недугах своих он прибегал к единственному средству – глотал мух. Вместе со рвотой проходили все его болезни. На зиму он делал запас мух и сохранял их, как он выражался, “снулыми”, в бутылке. Когда же занемог серьезно и матушка вызвала доктора, тот запретил столь сильнодействующее средство и прописал какие-то микстуры. Помню, как мой дядька кричал:

– Не надо лекарств! Мух дайте, мух!

Он отошел, и так получилось, что, когда я по любопытству своему пробрался в его комнату, там никого, кроме покойника, лежавшего на столе, не было. Почему-то я испугался именно длинных скрюченных пальцев на ногах, долго не мог отвести от них взгляда и еле заставил себя убежать во двор.

Сына Николая Макаровича, Мишку, моего одноклассника, матушка взяла в дом казачком. Я уже говорил, что не был большим охотником до общества и с другими детьми дружить не умел, а Мишка сразу покорила меня своим удивительным искусством сшибать муху на лету лбом. За фокус он брал конфету или пряник, и я, трепеща от восторга, глядел, как он замирал и подолгу оставался неподвижен, даже не моргал в ожидании, пока легкомысленное насекомое пролетит совсем рядом. Тут следовал молниеносный выпад, и поверженная муха падала на пол. Как я ни старался повторить что-либо подобное, ничего не получалось, зато на всю жизнь осталась дурная привычка иногда вдруг дергать головой, особенно когда волнуясь или вспоминаю что-нибудь неприятное.

Впрочем, что толку доставать из мешочка все эти осколки памяти и перебирать их то так, то этак. Мозаика рассыпалась, растерялась, целой картинке все равно не получится, как ни старайся, а от отдельных стеклышек какой прок? Вот помню доску, самую обыкновенную доску, которую отец, когда меня стали учить музыке, велел приладить к фортепьяно над клавиатурой так, что играть можно, но нельзя видеть рук и клавиш. Помню и мои слезы, и крики отца, и заплаканные глаза матушки, тайком от него разрешавшей мне разучивать ноты без доски. А зачем я все это помню? Для чего?

А вот рождественская елка, украшенная блестками, бонбоньерками и конфетами. В огромной коробке, в грохочущем пергаменте, долгожданный волшебный фонарь. В ящичке перезвывают маленькие тонкие стеклышки с картинками, до которых нельзя дотрагиваться. На выглаженной простыне – странная испуганная птица киви. Вдруг входит отец, и круглый птичий глаз на какое-то мгновение, а как оказывается, и на всю жизнь замирает у него на лбу.

Нет, оставлю поскорей детство, ибо что есть для мира чьи-то детские воспоминания, если не ложь. Спросите любого, было ли у него в жизни что-нибудь счастливое, безмятежное, и он, конечно, вспомнит свою повозочку, свою няню, свою матушку, укутывающую его беличьим одеяльцем, вытряхнет из заветного мешочка свои, ему лишь одному драгоценные стеклышки, будет перебирать их без устали.

Читать воспоминания о чем-то детстве – что выслушивать рассказы слепца о том, как представляет он себе Божий свет. Так и грязная вонючая изба, в которой люди живут в мерзости и пьянстве, как скоты, вспоминается кому-то как островок счастья и душевного покоя. И пусть будет вокруг него с первого крика лишь рабство да хмельное мычание, а всё не вытрях-

нуть ему из заветного мешочка, как ни тряси, ничего, кроме разноцветных стеклышек – и будет это во всей его жизни единственный свет и покой.

Годы шли, белокурый ангелочек незаметно превращался за деревенским безделием в откормленного переростка. Надобно было приниматься всерьез за учение.

Матушка заменила мне первых учителей. Помню, как мы играли с ней во всякие зако-рочки, и если я был прилежен, мне разрешали чинить перья батюшкиным ножичком. Впрочем, большее удовольствие мне доставляло препарировать им хрустящих жуков.

На семейном совете решили, что я должен поступить в симбирскую гимназию, что и было исполнено.

Помню, с каким трепетом, с каким страхом, вполне, как оказалось, оправдавшимся, я поднимался в первый раз по широкой чугунной лестнице, стертой до блеска, наверх, где был гулкий просторный актовый зал с портретами императоров на стенах.

Не хотел бы я снова возвратиться в то разжиревшее от плюшек и пряничков большегла-зое дитя, рыдавшее по ночам от проказ злых насмешников и жестоких тихонь. Кто не научился обходиться в кругу товарищей с самого детства, обречен в отрочестве на одиночество и про-стодушную, без задней мысли, травлю, осужден на то, чтобы вылавливать из чашки гимнази-ческого чая еще живого прусака, совать ноги в галоши, налитые квасом, ходить, не замечая на спине вероломный плевок. Всего не вспомнишь.

У учителей я тоже сразу впал в немилость. Не приведи господь задавать российским учителям вопросы – сразу прослывешь умником, несчастнейшее сословие в наших учебных заведениях.

Из наших наставников я сблизился лишь с Иваном Ивановичем Козловым, преподава-телем точных наук. Необычная наша симпатия друг к другу покоилась, однако, не на шатких теоремах, пустотелых цифрах и прочих абстрактных понятиях. Никакого пристрастия к сво-ему предмету Иван Иванович не имел и заботу о воспитании в нас любви к математике полно-стью переложил на плечи Войтяховского, предоставляя нам самим корпеть над талмудом сто-личного штык-юнкера, так что все эти логарифмы и биномы вряд ли оставили в моем мозгу, не склонном к точным наукам, несколько царапин. Дело в том, что Иван Иванович был тайным поэтом.

Тайну свою он скрывал ото всех, в том числе от супруги и детей, которых было, кажется, пять или шесть. Помню, как однажды он остановил меня за рукав и, отчаянно заморгав – когда волновался, он всегда моргал, – попросил каким-то странным голосом остаться после классов. Я остался. Он, несколько раз выглянув в коридор, запер дверь изнутри и подошел ко мне на цыпочках.

– Вы, Ларионов, я вижу, совсем не такой, как они все, – залепетал он, суетливо дергая ресницами. – Правда, боюсь, что ничего путного из вас не будет, но вот мечтателем и ценителем бельлетра вы станете.

Я испуганно замотал головой.

– Станете, мальчик, станете. – И Иван Иванович, взяв с меня слово, что все останется тайной, стал шептать свои вирши почти на ухо, обдавая мое лицо горячим несвежим дыханием.

Скорее всего, стихи, писанные в допотопном духе, груженные славянизмами, приправ-ленные несъедобными рифмами, были дрянными. Но что до того нелюдимому подростку, в ту минуту уже глядевшему на Ивана Ивановича сквозь запотевшие стеклышки обожания. К этому времени, кажется, я уже носил очки.

Потом он частенько оставлял меня в пустом классе якобы для занятий. Мы запирались, и Иван Иванович шепотом декламировал, мельтеша ресницами. Незаметно он расходился, начи-нал читать вслух, даже размахивал в такт руками, словно сам себе дирижировал, а однажды вдруг закончил, так патетически крикнув и так топнув ногой, что прибежал дворник Матвей, у которого было на одном глазу бельмо, будто глаз был присыпан мелом. Бедный Иван Ивано-

вич перепугался и в другой раз начинал шепотом, но скоро опять забывался и говорил во весь голос, размахивая руками и топая ногой.

Писал Иван Иванович большей частью “Оды” и “Размышления”. Прославлял он отечество и радовался, что живет и умрет в нем, а размышлял о бренности человеческого существования. Кричать, топтать ногой и размахивать руками он начинал всякий раз, когда доходил до того места, где писал о том, что потомки все-таки будут читать его и оценят по достоинству. Кажется, я и вправду верил Ивану Ивановичу, что он сам явится к грядущим поколениям, потому что искусство бессмертно и стих его все на свете переживет.

После чтения он всякий раз набрасывался на меня:

– Ну как? Вам понравилось?

Я, не в силах выразить трепета и восхищения и не понимая, почему этот удивительный человек меня, сущее ничтожество, об этом спрашивает, лишь усердно кивал головой, а Иван Иванович все переспрашивал:

– Правда вам понравилось? Скажите, вам правда понравилось?

После подобных дополнительных занятий он летел домой, к супруге и детям, все-таки их было пятеро, порхая над симбирскими лужами, как Феб.

Наша общая с Иваном Ивановичем тайна научила меня отвечать на злые выходки товарищей, на все их плевки, щипки, подножки, толчки в спину, весьма обидные прозвища лишь гордым тихим презрением да приохотила искать замену друзьям в книгах.

Даже вакации я проводил за чтением. Как сейчас чувствую кожей жаркий душный деревенский полдень, а ноздри щекочет резкий плесневелый запах слежавшихся книг. В такие дни, когда на улице пекло, затворяли ставни и поливали пол водой, но ничто не помогало. Пристроиться где-нибудь с книжкой было не так-то просто, всюду донимали мухи и духота, из дома бежишь в сад, из сада в дом. Спасаться можно было лишь под Тишнером. Рояль, на котором давно никто не играл, предоставлял мне прохладное звонкое убежище, и, валяясь под ним на ковре, я читал все подряд, без разбора, что находил в отцовской библиотеке. Матушкины домашние туфли по десять раз на день останавливались у книжных стопок рядом с моей подушкой, и матушка, обеспокоенная моим увлечением, опасным для здоровья и вообще, упрашивала меня пойти покататься или просто погулять. В ответ я декламировал ей что-нибудь из “Цинны” или “Британика”, и мой игрушечный бас, размноженный на эхо гулким нутром рояля, разбегался по комнатам. Матушка тяжело вздыхала и подсовывала мне на блюде клубнику или малину со сливками.

Задумавшись, а то и просто устав от проглоченного и плохо переваренного волюма, я постукивал пальцами по звонким доскам, щелкал по ним, чуть царапал их ногтями – рояль отзывался даже на простое поглаживание. Иногда я выстукивал его костяным ножичком, которым разделялся с книгами – большинство томов было не разрезано.

Я читал много и с охотой. Но что за польза от раннего чтения? Читающий подросток не найдет ничего удивительного в том, что для возвращения какому-то обманутому мужу изменницы жены весь мир режет друг друга, да и само описание кровавой резни читается как сказка. Летели головы, брызгала кровь, но несколько не было страшно, в то время как при одном воспоминании об обгрызанных ногтях нашего латиниста и о его сдавленном шепоте становилось не по себе. И некого было спросить, отчего это так. Моя матушка, помнится, на вопрос, откуда Гомер все это знал, все это, слепой, видел: и корабли, и пригорок стриженных волос над телом Патрокла, и то, как хохочут боги, будто это не Олимп, а людская, – ответила, почесав спицей в затылке, что, верно, у них там, у богов, Гомер был писарем, вроде нашего Пантелеймона, который вел в имении все хозяйство и писал ежегодные отчеты.

– Вот ведь только из его бумажек и вспомнишь, что было, – вздохнула матушка. – Живешь вроде медленно, а годы – фьють!

И она снова принималась ворчать, что в моем возрасте надобно не пыль глотать, а купаться и вообще больше быть на свежем воздухе.

К отцу я и вовсе боялся подходить. Он сделался в последние годы страшным, неприятным, запирался у себя, что-то писал, потом написанное сжигал, все чаще и чаще был нетрезв. Иногда он посылал за мной, и я с внутренним отвращением входил в его кабинет, где было невозможно дышать, таким спертым был воздух и так дурно пахли его стоптанные валенки. Отец боялся сквозняков и никогда не проветривал своей комнаты. Все вещи в его кабинете были навалены кое-как, в полном беспорядке, он запрещал прибирать у себя, и всюду толстым слоем лежала пыль. Помню засыпанную пеплом несвежую смятую постель, разложенную на диване, план какой-то крепости на стене, рисунок первого парохода и копии с разных старинных картин небольшого размера, переведенные на стекло и сзади раскрашенные. Они изображали римских республиканцев, гордых и обреченных.

Отец принимался спрашивать меня какой-нибудь урок из геометрии или грамматики, а то начинал выпытывать у меня про учителей, про моих товарищей, но я или отмалчивался, или бурчал что-то невнятное, лишь бы поскорей вырваться из этой комнаты.

Матушка несколько раз вызывала к нему врачей. Отец был с ними дерзок, груб, не давал себя смотреть, а одного из них чуть не спустил с лестницы. Помню, что какой-то маленький старичок в черной перчатке, на которого матушка особенно надеялась, долго, чуть ли не с час просидел с отцом в его кабинете и, выйдя, стал успокаивать ее, что болезнь не в организме и что вообще нет ничего страшного.

– Так что же с ним? – спросила матушка в отчаянии.

Старичок пожал плечами и положил руку в черной перчатке на стол. Деревянная рука звонко стукнула.

– *Vacuum horrendum*<sup>2</sup>, – улыбнулся он.

Помню, что от этих слов холодок пробежал у меня по спине. Я стоял за полуоткрытой дверью.

Иногда матушка все-таки прогоняла меня на пруд, я брал с собой книгу и читал в лодке. От мельтешения солнечных пятен на воде и на страницах, от шума ветра, от запаха гниющей воды часто кружилась голова, и я засыпал, вытянувшись прямо на дне ялика.

Удивительно ли, что впечатлительный подросток видел на только что разрезанной странице вовсе не то, что выводила рука какого-нибудь мудрого мужа! Как-то ночью мне даже приснилось, как кто-то взлохмаченный выдирает себе пряжкой глаза. Но скажите, что мог понять лакомившийся малиной мальчик в притче о несчастном Эдипе? Помню, что я вдруг не смог смотреть на матушку. Мысль, столь омерзительная, что от нее делалось дурно, тем настойчивее лезла в голову, чем отчаяннее я старался отогнать ее. Я так мучился этим страшным невозможным видением, что даже не на шутку захворал. У меня начался жар, и когда матушка, испуганная моей неожиданной болезнью, захотела прижать мою голову к своей груди, я оттолкнул ее, вырвался, и со мной случилась нервная истерика.

Вакации пролетали незаметно, и надобно было возвращаться в Симбирск. Сборы с каждым годом становились все тягостней. В гимназии меня ожидали лишь одни мучения: скучная учеба, безотрадное общение со сверстниками, зависимость от недалеких учителей. К тому же с возрастом эти страдания увеличивались. Да и вообще нужно сказать, что общественное воспитание способствует только испорченности. Ибо учитель учит своим казусам, артикулам, датам, формулам и прочей белиберде, о которой ни разу потом и не вспомнишь, а уроки жизни преподаются за курением дешевого табаку в закоулках долговязыми переростками с гадкими волосками на угреватых подбородках. Юные души благоговейно внимают их грязным речам, похотливым мыслям, презрительным манерам. Ведь учатся жить не по примерам

---

<sup>2</sup> Наводящая ужас пустота (лат.).



портретной добродетели. У мальчиков в гимназических тужурках свои герои, которые доблестно пьют водку, а больше хвастают пьянством, живописно, в подробностях рассказывают свои, конечно же, мифические, амурные похождения, на уроках переписывают вольнодумные, а чаще похабные стишата, находят удовольствие в жестоких проделках над инвалидом-истопником и вообще не без гордости называют себя *magister bibendi*<sup>3</sup> и вызывают среди гимназистов восхищение и подражание.

Один из таких переростков, Николенька Мартынишин, по нечаянному замыслу тетки и должен был стать моим наставником в жизненной науке.

Она и матушка тяжело переживали мое одиночество, винили во всем чрезмерное чтение, мои детские хвори и решили, что меня нужно развеять природой и беззаботным юным общением. Последние вакации решено было провести в Покровском, большом красивом имении на Волге, принадлежавшем старой тетушкиной подруге Александре Васильевне Мартынишиной.

В гимназии Николенька был бойким малым, всеобщим любимцем, главным подстрекателем и зачинщиком всех проказ, мастером строить комичные рожи и делать на каждого пародии. На переменах в укромных местах он смешил всех похабными историями, подчас очень неприличными, и сам про себя рассказывал, что заразился в одном доме нехорошей болезнью и вылечился от нее водкой. В домашней же обстановке Николенька сделался вдруг тихоней и паинькой, послушным, воспитанным, и стал от этого еще более противным, с вечно вздутыми губами, сальными, как две колбаски. Тетка моя называла Николеньку “лапкой”, трепала по щеке и все время ставила его мне в пример.

Юное общество, на которое возлагалась надежда укротить во мне буку и выветрить задумчивость и запах переплетов, состояло, помимо Николеньки, из двух его кузин-близняшек Семеновых, долговязых писклявых девиц, находивших безмерное удовольствие в том, что их вечно путали, и соседской барышни, только что закончившей в Москве институт. Ее звали Дашенькой. Она была рыженькая и вся в ярких веснушках, даже шея и руки были обрызганы будто морковным соком.

Отец Николеньки, боевой офицер, умер от ран в славный двенадцатый год. Его сослуживец, уже немолодой капитан, приехал после Германии и Парижа к вдове своего друга рассказать о последних днях храброго драгуна, да так и остался в Покровском, сперва еще на неделю, потом на месяц, а там и вовсе. Федор Николаевич был заядлым охотником, предавался весь псовой охоте и неделями разъезжал с нею и роговою музыкой по уезду. Своего приемного сына он недолюбливал, называл его неженкой и рябчиком – так презрительно величали тогда военные штатских. Каждое утро начиналось с того, что Федор Николаевич окатывал Николеньку из ушата ледяной водой. Доставалось и мне. Тетушке было неудобно вступаться за меня, и она в окно с ужасом смотрела, как отставной драгун закаляет наши дряблые посиневшие тела.

После завтрака на широкой террасе, увитой диким виноградом, во время которого Николенька с близняшками обстреливали меня исподтишка хлебными шариками, но стоило только мне ответить, как тут же происходил скандал, – начинались бесконечные общие развлечения, катания, прогулки, от которых не давали увильнуть, хотя в пруду было полно карасей, а в грунту шпанских вишен. Вечерами начинались игры в жмурки, в колечко, в рекрутский набор, в почту, в цветы и прочие глупости. Действительно, в компании было весело, но смеялись большей частью надо мной. Много ли надо для того, чтобы быть смешным? Всего лишь краснеть и молчать, когда нужно быстро найтись в *jeux d'esprit*<sup>4</sup>. Ни с того ни с сего поскользнуться на воощеном полу. Среди обеда, коснувшись случайно под столом ножки Дашеньки, опрокинуть на себя ложку супа. Этого вполне достаточно для того, чтобы все, мною сказанное, оказывалось невпадом, любое мое движение или жест все находили комичным, любая острота в мой адрес

<sup>3</sup> Магистр выпивки (лат.).

<sup>4</sup> Остроты (фр.).

вызывала дружный беззаботный смех. Особенно усердствовал Николенька. Номер, в котором он изображал, как я, задумавшись, съедаю салфетку, исполнялся на бис по сто раз на день. Близняшки хихикали до упаду, трепеща в такт бантами, рюшечками и кружевами на панталончиках, но громче всех заливалась Дашенька. Я краснел, молчал и растерянно улыбался, перенося все испытания стойчески, а то и просто убегал куда-нибудь, ища уединения. Но едва караси начинали клевать наживку, как в воду летели камни или палки, а в оранжерее, стоило только сорвать с ветки вишню, как близняшки, караулившие меня, начинали кричать:

– Господин Обжоркин! Господин Обжоркин!

Девушки Семеновы даже на фортепьяно играли не иначе как в четыре руки, книксен делали дружно, как по команде, и казалось, им даже самим было все равно, кто из них кто.

На приставания Николеньки я отвечал проверенным снисходительным презрением, липучих девиц Семеновых гонял удочкой, но когда я слышал звонкий, невесомый смех Дашеньки, со мной происходило что-то непонятное, трудно объяснимое. Она смеялась надо мной, но ради того, чтобы слушать этот смех, я готов был корчить из себя дурака сколько угодно.

В дождливые дни мы валялись на задней веранде, на огромном диване, в подушках, вышитых попугаями, гоняли комаров и болтали; вернее, это они валялись, а я угрюмо сидел в плетеном кресле, уткнувшись в книгу, как сейчас помню, это были Паскалевы *“Pensées”*<sup>5</sup> со следами соскобленных восковых нашлепок. За окнами лил проливной дождь, из открытой двери летели с крыльца брызги и запахи мокрого сада. На диване дурачились, а я делал вид, что читаю, но сам только переворачивал страницы, потому что на самом деле слушал Дашенькину болтовню, жадно внимая всей той чепухе, которую она могла нести бесконечно. В миллион раз важнее *ordre du coeur*<sup>6</sup> занудного старика были мне ее рассказы об институте, о выживших из ума классных дамах, о девичьих проделках. Дашенькин голос, ее движения, взгляды завораживали меня. Институт свой она вспоминала без особой любви, даже презрительно, потому что за разговоры по-русски там украшали дурацким колпаком и десертом угощали лишь тех, у кого на руках были повязки – ленточки означали, что девица в течение недели хорошо училась и примерно себя вела. Дашенька пожимала плечиками и фыркала:

– Чтоб они там все подавились моими *gateaux aux framboises*<sup>7</sup>.

Я садился в кресло специально глубоко, а книгу держал повыше, чтобы через край, будто я читаю верхние строчки, наблюдать, как Дашенька втыкала в пяльцы иголку – она вышивала что-то Александре Васильевне на именины – и, заливаясь смехом, изображала свою классную даму, которая была небывалых размеров и становилась на занятиях по мере надобности то кавалером, и нужно было дать ему согласие на мазурку, то бабушкой или дедушкой, и тогда с ней требовалось вести приличную беседу. Я переворачивал страницу и снова смотрел, как Дашенька хохотала, хлопала в ладоши и ее рыжие кудряшки прыгали по открытым рыжим ключицам. Чаще всего она вспоминала какую-то *Sophie*, которую все звали поганкой за то, что та была прегадкая, и тут Дашенька, представив себе в вышивке образ бедной *Sophie*, поджимала губки и с остервенением принималась колоть ее иголкой.

Это было наваждение, названия которому я еще не знал. Ночами я почти не спал. На соседней кровати сопел и чесал во сне комариные укусы Николенька, а я как ни жмурил глаза, все видел только ее, как она играет в серсо или воланы, или тысячу раз подряд снова проживал в воображении то единственное мгновение, когда у нее в волосах запуталась пчела, и Дашенька визжала и топала ножками, а я отчаянно раздавил пчелу в кулаке. Дашенька учила меня прикладывать к укусу сырую землю, и нечаянное прикосновение ее локоня жгло щеку. В коротком

<sup>5</sup> Мысли (фр.).

<sup>6</sup> Порядок сердца (фр.).

<sup>7</sup> Пирожки с малиной (фр.).

предрассветном забытии воспаленным мозгом правила она же, в розовом шелковом платье, в атласных розовых туфельках. Слюнявя пальчик, она накручивала на него перед зеркалом рыжую буколку, но дверь их комнаты, отворившись лишь на секунду, захлопывалась – и это видение даже во сне сводило меня с ума.

Однажды взрослые куда-то уехали и должны были вернуться поздно, за полночь. Воспользовавшись случаем, мы убежали на берег Волги, ловили раков, доставали со дна ракушки и, разведя костер, подпекали их на углях. От жара ракушки раскрывались, и мы, посолив, ели их с хлебом. Потом в несколько минут собрались тучи, и начался ливень. Мы побежали домой, все промокли, и в тот самый миг, когда мы карабкались по скользкой крутой тропинке, по которой ручьем неслась к Волге дождевая вода, я вдруг сказал себе в первый раз, что люблю эту рыжую смешливую девочку. Я и сейчас вижу, как на темной от ливня веранде она выжимает подол платья и волосы и как стекают ей за шнуровку капли.

В тот вечер Николенька сообщил мне по секрету, что стащил у буфетчика полграфина водки. От него уже пахло. Николенька достал из-под кровати графинчик и протянул мне, нужно было пить прямо из узкого горлышка. Я испугался, а Николенька сказал, что я дурак, и стал пить сам. Сделав пару глотков, он замирал, будто прислушивался к самому себе, затем пожимал плечами и пил еще. Потом вдруг как-то мгновенно его развезло.

Я старался успокоить Николеньку, уложить его в постель, но он то лез обниматься, то принимался драться, а то грязно во весь голос бранился или начинал кого-то изображать. Вдруг он заплакал, сказал, что ненавидит отчима и отравит его мышьяком. Потом Николенька снова стал хохотать и показывать, как я ем салфетку. Я умолял его не кричать, и он принялся рассказывать шепотом, как они целуются с Дашенькой в оранжерее.

– Ты лжешь! – закричал я.

– Дурачок! – ответил только Николенька и показал мне пьяный, покрытый слюзью язык. Я вцепился в его волосы, он разбил мне нос, и мы покатались по полу, оба в крови. В комнату на крики прибежали люди и насилу нас растащили. Николеньку начало тошнить и корчило с полчаса. Весь дом переполошился, по коридору бегали с полотенцами и водой. Я сказал, что Николенька, наверно, получил индигестию, но буфетчик обнаружил под кроватью свой графин и сокрушенно качал головой. В нашей комнате от удушливого, тошнотворного запаха спать было невозможно, и мне постелили на диване в гостиной.

То лето пролетело как один миг или, вернее, вздох. Через несколько дней нужно было уезжать, и я, сведенный с ума ночными видениями, в полном беспмятстве написал Дашеньке письмо, в котором объяснился ей. Два дня я носил его в кармане моей курточки, не зная, как передать, и наконец в отчаянии засунул его в томик Ретифа, который Дашенька читала втайне от взрослых.

Больше всего я боялся ее глаз, как она на меня посмотрит, и решил не выходить к обеду, но за мной пришла тетка и повела меня к столу чуть ли не силой. Дашенька хохотала как ни в чем не бывало, и у меня отлегло от сердца – значит, решил я, она ничего еще не прочитала. В сумерках пошел дождь, и мы провели вечер, играя в карты. Дашенька каждый раз слюнявила свои пальчики и била картой с размаха об стол – засаленные карты шлепались жирно и звонко. Понятное дело, я всякий раз оставался в дураках, потому что все только мне и подбрасывали. Перед сном же я обнаружил у себя под подушкой записку. Николеньки в комнате не было. Я взял в руки надушенный листок розовой бумаги, осторожно развернул его и долго-долго осыпал поцелуями. Там было написано: “Милый Сашенька! И я Вас очень-очень люблю!” Притворщица! – восхищался я. Как искусно она не выдала себя ни взглядом, ни голосом, ни жестом! Любимая! – шептал я как безумный. Господи, и я любим! Все это казалось мне невероятным.

Ночью, подождав, пока Николенька захрапит, я встал и в темноте, не зажигая света, набросал огрызком карандаша еще одно послание. Я умолял Дашеньку о встрече. Через два дня мы должны были расстаться.

На следующее утро любезный Ретиф проглотил мое отчаянное письмо. Целый день длилось томительное бесконечное ожидание. Я избегал Дашеньки, чтобы не выдать ничем нашу тайну. Один раз только я поймал ее взгляд – она качалась на качелях, ее воздушная, шелестящая на ветру юбка вздулась, и Дашенька испуганно посмотрела на меня, я сразу отвернулся и убежал. До самого вечера я ждал от нее какой-нибудь весточки или знака, но напрасно. Я готов был прийти в отчаяние, но – о чудо! – под подушкой я снова нашел розовый надушенный листок. Она писала, что будет ждать меня ночью, когда все лягут, в двенадцать, у статуи. Около пруда валялась почерневшая от непогоды, потрескавшаяся, частью расколотая статуя Леды с обезглавленным лебедем, шея которого с головой куда-то бесследно исчезли. Как описать мой восторг, мое упоение, мое счастье? Верно, в те минуты, канувшие куда-то и живущие теперь только во мне, я был самым счастливым человеком, когда-либо дышавшим на земле.

Я лег, задул свечу, сердце мое готово было разорваться от волнения, руки дрожали, губы сами шевелились, я чувствовал, что схожу с ума. В доме все легли, и каждая минута приближала это невозможное свидание, в которое я все никак не мог поверить. Как назло, в тот вечер Николенька, которого я ни разу не видел с книгой в руке, затеял читать перед сном и при свете ночника пялил глаза в какой-то том. Уже пробило и одиннадцать, и половину двенадцатого, а он все читал и читал, хоть это давалось ему с трудом, он отчаянно зевал, тер глаза, но книгу из рук не выпускал и то и дело спрашивал, не сплю ли я. Я притворялся, что не слышу его и вижу седьмой сон. С каждой минутой на душе становилось все тревожней. Без четверти я готов был уже задушить его, когда же пробило двенадцать, я лишь тихо, чтобы не было слышно, рыдал в подушку. Наконец книга выпала из рук заснувшего Николеньки, грохнула на пол, не разбудив его, и я, за секунду одевшись, выпрыгнул в окно и побежал в сад.

Конечно, никакой Дашеньки уже не было. В саду было холодно, сыро, от пруда поднимался туман и стелился по его поверхности плотно, как пенка от молока. В каждом шорохе мне чудились ее легкие шаги. Я вздрагивал, бежал ей навстречу, но это падала ветка или просто играл со мной злую шутку порыв ветра. Я продрог, меня трясло, зуб не попадал на зуб, но я до самого утра бродил по саду, по мокрой от росы траве, между холодными черными деревьями, стоял подолгу под ее окнами, все ждал чего-то и, только когда стало светать, вернулся и лег, усталый и безразличный.

Дашенька, сославшись на мигрень, к завтраку не вышла. Только поэтому я пошел пить кофе с бриошами. Не знаю, как смог бы я посмотреть ей в глаза. После завтрака, не в силах выносить опротивевшее общество, я пошел спрятаться от всех в оранжерею. Там было душно и пахло лимонами. Вдруг я услышал чьи-то приглушенные всхлипывания. В углу на куче свежих опилок сидела Дашенька. Почувствовав, что кто-то вошел, она вздрогнула, повернула ко мне заплаканное лицо и стала суетливо вытирать слезы платком.

Я подошел к ней. Дашенька, отвернувшись, молчала и шмыгала носом. Я не знал, что сказать, и наконец выдавил из себя глупое, где-то прочитанное:

– Я знаю, вы презираете меня за вчерашнее.

Она обернулась и посмотрела на меня с какой-то странной взрослой улыбкой.

– Сашенька, отчего вы такой?

– Какой? – спросил я, не понимая.

Она пожала плечами. Снова шмыгнула покрасневшим, распухшим от слез носом.

– Какой-то беззащитный. Нельзя так, нехорошо.

Дашенька протянула руку и взъерошила мои волосы.

– Вы такой славный. И запомните, я вас очень- очень люблю. Честное слово. Не верите?



Она вскочила, стряхнув с платья приставшие опилки, сняла свое колечко, с которым не расставалась все это время, и надела мне его на палец. Колечко это было сделано в виде змейки, укусившей свой хвост. Я все молчал, ничего не понимая.

– И никогда не думайте обо мне плохо, слышите, никогда!

Она вдруг прильнула ко мне, поцеловала в губы и, подхватив с земли свою парасольку, убежала.

Целый день я бродил по парку как в дурмане. Мне хотелось умереть, потому что большего счастья, я знал, в жизни уже не будет.

Настало время обеда. Я чувствовал, что не в силах выйти к столу и терпеть снова их лица, слова, смех. Я спрятался у пруда, в развалинах старой полусгнившей купальни, заросшей ивняком. В пруду отражалась изнанка мостика. По облакам на воде бегали водомерки. Иногда набегал ветерок, и на ряби качались кувшинки. Я не понимал, что со мной происходит. Я слышал, что по парку бегали и звали меня, но какое мне было до всего этого дело.

Вдруг я услышал смех Дашеньки. Я хотел выскочить, но увидел сквозь листья, что она была не одна. За ней бежал Николенька. Он догнал ее, рухнул перед ней на колени, стал вздымать руки и рычать:

– Вы презираете меня, Дашенька! Вы презираете меня!

Дашенька заливалась смехом. Николенька притянул ее за руку к себе, обнял ее, и они долго целовались. До моих ушей доносились сквозь шум листвы ее шепот, вздохи, чмоканье, сдавленный смех. Потом она оттолкнула Николеньку и слегка ударила пальцами по губам. Он снова хотел прижать ее к себе, но Дашенька вырвалась, поправила платье, шляпку, и они побежали дальше, громко выкрикивая мое имя:

– Сашенька! Саша! Ну где же ты!

Ночью, когда все в доме стихло, я оделся и осторожно вылез в окно. Поздно вечером прошел дождь, трава была мокрая, я поскользнулся, упал и весь перемазался в земле – садовник делал под окном клумбу. Тропинкой через парк я спустился к Волге. В темноте, ночь была безлунная, да еще не разошлись тучи. Другого берега не было видно, а на этом кто-то жег неподалеку костер, был слышен негромкий разговор, смех. Я отошел подальше и стал раздеваться, сбросил курточку, а мокрая рубашка – я вдруг почувствовал, что сильно вспотел, – не стягивалась. Я махнул рукой, скинул только ботинки, одетым вошел в воду и поплыл. Плавал я плохо, обычно быстро уставал, руки и ноги немели, и теперь я старался заплывать как можно дальше. Вода была теплая. Костер на берегу стал уже крошечным красным пятнышком, когда я совсем выбился из сил. Я полежал немного на спине, тучи бежали быстро, потом нырнул как можно глубже и разом выдохнул весь воздух, чтобы глотнуть побольше воды.

Я, верно, так и утопился бы, если бы удивительная сила вдруг не выдернула меня из волжской глубины. Я так выдергивал из пруда карасей. Будто кто-то подождал, пока я поглубже заглотну крючок, и тогда только дернул за удилище.

Кое-как я добрался до берега. Меня вытошнило. Я полежал на песке, потом выжал мокрую одежду и поплелся обратно.

На следующее утро мы уехали, и первая моя любовь, слава Богу, окончилась насморком.

Колечко соскочило во время ночного купания. Этот символ вечной любви так и пролежит в волжской тине до конца света.

Когда пришло время продолжить мое образование в каком-нибудь серьезном учебном заведении, дома стали поговаривать о том, чтобы отправить меня в столицу. Переезд в такую даль, житье за тысячу верст от близких, среди чужих людей, не жалующих, как подсказывал уже мой опыт, очкастых недорослей, пугали, но даль эта была Петербург, магическое для провинциала слово, и я ожидал решения моей участи одновременно со страхом и нетерпением – скоро мне должно было исполниться шестнадцать лет.

Однако определение мое в столичный корпус оказалось сопряжено с особомoго рода препятствиями.

Чтобы устроить мою судьбу, отец должен был написать кому-то письмо. Но это дело, самое обыкновенное, вдруг стало невыполнимым, ибо, объявив войну всему миру и воюя с ним одиночеством, отец больше всего боялся, что враги воспримут это как его поражение, позорную капитуляцию, а принципы были, кажется, тем единственным оружием, которым он отстаивал свою непонятную жизнь.

Отец наотрез отказался что-либо просить, как он говорил, у них. Все это было в мое отсутствие, и подробностей я не знаю, вернее, их от меня скрывали. Мне известно только, что у матушки с отцом дело дошло до разрыва, она даже переехала на время к сестре. Отец всю жизнь мучил мою мать, но, видно, жить без нее не смог. Теткина дворня потом рассказывала, что он приехал к моей матушке, валялся у нее в ногах и та, разумеется, простила.

Отец несколько раз принимался за злополучное письмо. Это было уже на моих глазах. Потом он рвал исчерканные листки. Однажды прямо при мне, когда я рылся в его кабинете в книгах, он скомкал лист, бросил его на диван, стал грозить кому-то кулаком, что-то бормотать и мычать, но вдруг замолчал, вспомнив, что он не один, и, запахнув халат, ушел смотреть службы.

У отца иногда был такой взгляд, что мне казалось, будто он меня ненавидит.

Однажды я увидел, как матушка, выйдя от отца, хоть и принимала гофмановы капли, но счастливо улыбалась. Вскоре приехала тетка, и они радовались и плакали вдвоем. Я понял, что отец написал письмо, от которого зависела моя судьба. Он заперся и целый день никого к себе не пускал, а ночью с ним случился припадок. В доме поднялся переполох, все что-то кричали, даже хотели посылать за доктором. Я не спал до самого утра. В темноте по всему гулкому деревянному дому было слышно, как бился связанный отец и даже как матушка мешала ложечкой в стакане, отпаивая его чаем.

Быстро пролетели последние деревенские месяцы, и пришло время отправляться в путь. Сборы были хлопотливыми и долгими. Матушка должна была ехать со мной.

В последнюю неделю отец вдруг изменился, стал разговорчивым, проводил со мной целые дни. Его улыбки казались мне странными, смех – неловким, непривычные отцовские ласки – неумелыми. Он то и дело трепал меня по голове жесткой ладонью и больно царапал мне лицо своей плохо выбритой щекой.

Он заговаривал со мной о книгах – я отмалчивался. Говорил о моей военной будущности – я покорно внимал его наставлениям. В те последние дни отец хотел быть близким мне, а я чурался его. По ночам было слышно, как он бродил по дому, что-то время от времени бурчал себе под нос, а однажды он зашел ко мне, присел на край кровати, тихо позвал меня, но я притворился спящим.

В день нашего отъезда он сказал, что хочет сообщить мне нечто важное. Но суета, поднявшаяся в доме, необходимые распоряжения отвлекли его, и отец сел со мной в коляску, чтобы поговорить по дороге. Матушка уже выехала накануне в Симбирск, а оттуда мы должны были ехать вместе.

Тот день перед началом осени выдался пасмурным, с утра собирался дождь, иногда начинало накрапывать, крупы лошадей были мокрые, переливались, отражая дождливое небо, и от них шел пар. Отец долго молчал, глядя по сторонам. Мы ехали по лесу, от деревьев тянуло сыростью, и мне было зябко. Иногда отец начинал говорить про какие-то мелочи, потом снова замолкал. Так мы доехали до выезда на дорогу, ведущую из Барыша в Симбирск. Отец велел остановиться. Какое-то время мы сидели молча.

Снова пошел дождь, и капли застучали по рогоже. Отец вдруг хлопнул себя по коленке, махнул рукой, оцарапал меня в последний раз своей щекой и, так ничего и не сказав, вылез. Не

оглядываясь, он пошел пешком назад, сапоги его разъезжались по мокрой глине, картуз сразу стал в крапинку от дождя, а мы поехали дальше.

Почти две недели мы ехали с матушкой на перекладных через Казань и Нижний, малопостов в те времена не было и в помине. Матушка переносила дорогу очень тяжело, и иногда мы подолгу отсиживались на станциях. Лошадей никогда не было, но волшебная ассигнация, быстро захлопнутая в книгу для записи проезжающих, делала чудеса, и мы скакали дальше, вернее, тащились, потому что ямщики не столько гнали, сколько сгоняли кнутами со своих кляч зеленоглазых слепней.

Верстовые столбы, которых я насмотрелся от Симбирска до Петербурга не одну тысячу, отхватили у меня кусок жизни величиной с беззаботное отрочество, и на столичную заставу я въехал юношей, обеспокоенным своей будущностью. Что все в конце концов сложится хорошо, что жизнь моя выйдет ладной, удачной, яркой и уж во всяком случае счастливой, в том я нисколько не сомневался. Да помилуй Господь – если шестнадцатилетнему человеку дать прочитать повесть о его жизни, написанную им же самим, но старцем, он без тени сожаления пойдёт толочь себе стекло, и что сможет сказать ему в такую минуту старик, какие найдет слова?

Письмо, от которого зависела судьба моя, было адресовано лучшему другу моего отца, разумеется, в прошлом. С ним отец делил опасности и тяготы боевых походов, с ним вместе поднимался по крутой лесенке чинов. Человек этот служил теперь в Генеральном штабе и принял нас с матушкой в большом кабинете с огромным, в два, а то и все три человеческих роста, портретом государя и такими же исполинскими окнами. Помню, что и окна, за которыми висело сырое чухонское небо, и портрет, и широкий стол, и даже пуговицы на мундире отражались в холодном зеркальном паркете.

Матушка обратилась к нему было «Ваше превосходительство», но он вышел из-за стола, подошел к ней и поцеловал руку.

– Что вы, Татьяна Петровна, зачем это? Давайте по старой дружбе!

Правая рука у него была на перевязи. В девятом году его ранили, и с тех пор она сохла.

Он вернулся к столу и снова пробежал глазами письмо, которое матушка передала с дежурным офицером. Он ловко развернул бумагу одной рукой. При чтении брови его то чуть дергались вверх, то сжимались к переносице. Он покачивал головой, будто удивлялся чему-то, на минуту отрывался и смотрел задумчиво в окно, потом улыбался, то сгонял с лица улыбку. Он стал расспрашивать матушку про здоровье отца, не собирается ли тот сам в Петербург. Потом посмотрел на меня.

– Похож, – не спеша произнес он, – похож.

Матушка стала расписывать все мои достоинства и стремление к воинским наукам, но этот человек, казалось, думал о чем-то своем. Он встал и, пойдя по кабинету, подошел к окну.

– Вы знаете, Татьяна Петровна, ваш муж нанес мне незаслуженное оскорбление. Теперь я не в обиде на него. Его нездоровый характер... Впрочем, мне ли вам об этом говорить. Спустя столько лет он просит у меня прощения. Пустое, теперь мне не за что его прощать. Я прожил свою жизнь, он – свою, и какое теперь все это имеет значение.

Мне было видно, что, отвернувшись к окну, он чему-то с довольным видом улыбнулся. И отказал этот друг отца в моем устройстве в кадетский корпус – под предлогом того, что вакансии на этот год все закрыты, – если не с удовольствием, то, во всяком случае, с чувством восстановленной справедливости.

Одна очень дальняя родственница, у которой мы остановились, посоветовала пристроить меня в Дворянский полк. Эта дама все время куда-то спешила, называла меня *mon petit*<sup>8</sup>,

---

<sup>8</sup> Моя крошка (*фр.*).

матушку – милочкой, сокрушалась, что никак не удастся поболтать по душам, говорила с нами лишь на ходу и смотрела при этом в зеркало. Даже в голосе ее звучало плохо скрываемое пренебрежение к симбирской воде на киселе.

После всех переживаний матушка так была расстроена и находилась в таком нервном возбуждении, что ответила на предложение устроить меня в полк совсем не свойственной ей грубостью:

– Что-то вы вашего сына не устроили туда, милочка.

Дама удивленно отвела глаза от зеркала, смерила матушку взглядом и, пожав плечами, молча отправилась по своим визитам.

Дворянский полк в то время был заведением совершенно особого типа, и неудивительно, что подобное предложение звучало для моей матушки оскорбительно. Я же столько слышал о нем еще в Симбирске, что ни за что не согласился бы учиться там. Полк пользовался недоброй известностью. Из столичных корпусов сюда переводили кадетов дурной нравственности за всякие провинности. Недоросли из неслыханных уголков России нехитрыми приемами переделывались здесь в армейских прапорщиков и получали по окончании назначения в такие же медвежьи места. Нужно было слишком уповать на связи, которых у нас не было, или на случай, чтобы мечтать после Дворянского полка о какой-нибудь карьере, не говоря уже о гвардии.

В конце концов ничего не оставалось, как смириться. И в один прекрасный день – день действительно был хорош, ранний октябрьский денек, полный солнца и ветра с залива, – я оказался в мундире мушкетерной роты Дворянского полка с гладкими желтыми погонами, и колючий воротник сразу натер мне шею.

Помню, как матушка, проводив меня до самых ворот полка, все не давала мне уйти, поправляла зачем-то волосы, которые через полчаса состриг покрытый шерстью цирюльник, бормотала что-то и целовала, несмотря на то что нас дожидался вышедший за мной дежурный офицер. Он наблюдал эту сцену с таким презрением, что я, сгорая от стыда и не зная, как отделаться от матушки, позорившей меня, оттолкнул ее и быстро пошел к воротам. В последнее мгновение я обернулся и увидел, как она стояла на ветру, прижав руками чепчик, будто схватилась за голову.

Началась новая жизнь, полная крика и муштры.

В три четверти шестого колокол, резкий, пронзительный, бил повестку. Я очумело вскакивал и бежал вместе со всеми в залитую умывальню, где была толчея и злая ругань спросонья. В шесть били зорю. Ротой молились, ротой маршировали в трапезную, потом угрюмо расходились по не топленным с утра классам сидеть при вонючих желтых свечах, трещащих в ожидании рассвета. Зимой от холода едва можно было держать перо в руке. Каждый день была истощающая бесконечная маршировка. После фронтового учения занимались чисткой ружей, белением амуниции, лакировкой сапог.

Дурашливых гимназических учителей сменил поручик Субботин, командир роты, безмозглое крикливое существо с неизменным зеркальцем и щеточкой для усов.

– Хороший пехотный офицер, – любил говорить он, прохаживаясь вдоль строя своей подпрыгивающей походочкой, – должен сперва стать хорошим солдатом. Первое вам, господа, не гарантирую, а вот хорошими солдатами вы у меня станете!

Свое обещание он претворял в жизнь с помощью карцера, куда отправлялись на хлеб и воду за малейшую замеченную неисправность. Впрочем, Субботин блестяще дрался на эспадах, лучше всех в полку, и за это ему прощалось воспитанниками все.

Первым батальоном командовал в ту пору полковник Брайко, раздувшийся малороссиянин, невероятный заика. Команды он произносил вдохновенно, зычно, четко, но когда нужно было сказать что-нибудь не по уставу, а от себя, Брайко начинал страшно заикаться, подолгу



запинался на каждом слове, не мог произнести до конца ни одной фразы. Он стыдился ужасно своего недостатка и предпочитал молчать. За все два года я не услышал из его уст, кажется, ни одного человеческого слова, зато на плацу полковник чувствовал себя как птица в полете и часами с упоением сам командовал нашими экзерсисами.

В полк я пришел уже не тем начитанным мальчиком, думавшим завоевать мир книжной мудростью. Книги я перестал читать вовсе и что есть сил старался стать таким же, как мои новые товарищи, на которых мундир уже не сидел мешком. Выправке, маршировке, ружейным приемам я учился ретиво, истово. Мучительное, необъяснимое наслаждение я находил в том, чтобы разбирать ружье, чистить его тертым кирпичом, драить полировником штык, шомпол, винтики. Мне нравилось варить пахучий клей, белить амуницию, а когда клей и мел подсохнут, начисто, чтобы не было ни пятнышка, ее отделявать. Я маршировал до упаду, затягивая чешую под кивером до удушья, вскакивал утром первым за минуту до зубодробящего колокола, в парадной зале под портретами кричал “ура!” громче всех.

Как я ненавидел себя, пухлого, задумчивого! Как я хотел стать таким же, как они все, – тупым, грубым, жестоким, веселым!

Увы, все было напрасно. И даже чин умника, потерявшийся было где-то на волжских почтовых перегонах, снова настиг меня на берегах Невы.

В десять вечера дежурный офицер обходил рундом дортуары, проверял, все ли легли спать, погашены ли свечи, и отправлялся на квартиру. Ночью воспитанники были предоставлены сами себе, и тут начиналась уже настоящая корпусная жизнь со своими законами и понятиями о приличии и чести.

На второй день моей ротной жизни ко мне подошли двое огромных, косая сажень в плечах, воспитанников из старшей, гренадерской роты и сдернули с меня одеяло. Они были завернуты в простыни, на головах были подушки, надетые как треуголки. Один с важным видом сказал, что их послал зубной врач осмотреть новенькому зубы. Нас обступили в ожидании потехи. Я хотел вырваться, но первый скрутил мне руки за спиной, а второй, нажав пальцами на щеки, открыл мне рот и стал ломать передний зуб ключом. Я закричал, тогда как по законам чести должен был терпеть положенное испытание молча. Зуб стал крошиться, рот был полон крови. На крик прибежал фельдфебель, и у меня еще, слава Богу, хватило ума сказать, что я оступися и разбил зуб о спинку кровати.

Истинными правителями заведения были так называемые старые кадеты, очерствелые животные, из которых и розги не могли выдавить ни стона, ни слезинки. Таким старым кадетом был Панов, сломавший мне в памятную ночь зуб. Он ходил раскачиваясь, размахивая руками, сжатыми в кулаки, так что встречные должны были давать ему дорогу, ибо он громко предупреждал каждого: “Расшибу!” Ноги он старался стигать колесом, для этого при ходьбе упирался на мизинцы. Говорил басом, с начальником и учителями был груб, даже дерзок, учился плохо, или, лучше сказать, вовсе не учился, торчал в одном классе три года. Он нюхал табак и по приходе из отпуска, особенно по воскресеньям, часто бывал пьян. В классе он неизменно сидел на задней скамейке, но зато в строю, на ученьях, на смотрах он всегда являлся молодецком, ни у кого не было лучше начищенных сапог и выбеленной с глянцем амуниции, а приемы делались им с таким темпом, что ружье трещало и один раз даже сломался приклад. Подобные ему девятивершковые верзилы выпускались даже не в армейские полки, а в какой-нибудь гарнизонный батальон.

По заведенному еще при царе Горохе неписаному закону, младшие воспитанники поступали в услужение старшим, должны были угождать им во всем, чистить сапоги, за что получали покровительство. Панов почему-то именно меня выбрал в свои *protégé*. Все восстания младших жестоко подавлялись старшими, и в этом страшном унижении утешало лишь то, что не ты один терпишь, а все – и это делало из унижения обыкновенный порядок. Тем более что

рано или поздно младшие сами становились старшими, и тогда уже они пользовались всеми привилегиями силы.

По воскресеньям и в праздники воспитанников разбирали по домам родственники или знакомые, у кого они были в Петербурге. За примерное поведение отпускали и так, в билете было написано: “Отпускается до вечерней зори”, – и, не имея в городе ни одной близкой души, я все равно был рад, что можно вырваться из казармы, и целый день слонялся по широким, занесенным снегом улицам, глаза на гуляющий народ, на санки, что мчались по Неве во всех направлениях по дорожкам, отмеченным полицией рядами елок. Какое наслаждение было после бесконечной бессмысленной недели смотреть на огромные кубы зеленого льда, сверкавшего на солнце, жевать быстро стынущий на морозе калач вместо тошнотворного корпусного фризолья, слушать, как подковы, пробивая снег, звонко бьют по камням, как взвизгивают на мостовой полозья – все петербургские звуки, сладостные для провинциального уха.

Лето мы провели в лагерях под Стрельней.

Два месяца полк готовился к высочайшему смотру, но накануне торжественного события наша рота совершила набег на окрестные сады. Мы объелись кислых неспелых яблок, и я встретил долгожданный день на скользких досках, перекинутых над смердящей выгребной ямой.

Через несколько дней из дома пришло письмо, в котором сообщалось о смерти отца. Во время очередного припадка он сбросил со стола завтрак, поскользнулся на варенье и, падая, разбил голову об угол печки. Сутки почти пролежал он в бесспамятстве и на следующий день скончался.

Я просился поехать хоть ненадолго домой, но шли маневры, и меня непустили.

Осенью мы были переведены из мушкетерной в выпускную гренадерскую роту.

Мы стали старшими и всю пользовались полученными привилегиями. В победоносных драках с младшим курсом я участия не принимал, но зато ходил по воскресеньям в портерную в Большой Гребенской у самого корпуса. Не знаю, за что облюбовали это заведение воспитанники Дворянского полка, верно, за заплыванный, пахнувший пивом пол и залитые клеенки. Обыватели петербургской части много потерпели от “дворян” и частенько натравливали на портерную полицию, тогда нужно было спастись оттуда через черный ход.

К радостям выпускной роты относились и посещения Марии Николаевны, полной дамы не первой молодости, рябой, как терка. Мария Николаевна поила чаем с вкусными домашними плюшками, которых можно было есть сколько хочешь, а потом вела в соседнюю комнатку, где стояла пышная, чудесно пахнущая кровать. Плату она брала чисто символическую, любила гладить по голове и называла меня, а наверно, и каждого: “Жизнечок!”

В первый раз меня привел в маленький деревянный домик на Карповке Панов. Помню, что я вдруг страшно оробел и прирос к стулу, когда мой чичероне, сославшись на срочные дела, ободряюще ткнул меня под столом коленкой, поцеловал Марии Николаевне пухлую ручку и быстро ушел. Я потерял дар речи и на все ее попытки оживить разговор, испутивший дух с уходом Панова, отвечал лишь растерянной улыбкой и все просил подлить еще чаю. Мария Николаевна смотрела на меня, подперев щеку кулаком. Потом, взглянув на часы, отняла у меня ото рта чашку, взяла за руку и повела в соседнюю комнатку.

Я стал посещать этот дом регулярно и вскоре вовсе перестал стесняться Марию Николаевну. Более того, с товарищами обыкновенно молчаливый, я принимался тут рассказывать ей обо всем на свете: и о корпусных новостях, кого и за что оставили без обеда, и о горах, что строила полиция к Масленице, и о театре, где был всего два раза. Я жаловался ей на самовлюбленного дурака Субботина, на плац-мучителя Брайко, которому Бог отомстил за нас, наградив слабоумной дочкой. Когда не было занятий, полковник ходил с ней гулять по двору. Она была

старше нас, но ходила всегда только за руку, глядя кругом с бессмысленной улыбкой, беспрестанно работала своей тяжелой челюстью и все норовила запихнуть в рот какой-нибудь камень. Лежа на жаркой перине и кушая плюшку, я даже обсуждал с Марией Николаевной, не с умыслом ли поставил коварный француз монумент основателю империи на санкюлотский колпак.

Мария Николаевна слушала меня всегда с интересом, играя крестиком на моей груди или расчесывая мне волосы своим овальным гребнем, часто спрашивала меня про дом, про матушку, про отца, и я все-все ей рассказывал, так мне было с ней легко и хорошо.

Однажды Мария Николаевна сказала ни с того ни с сего:

– Тебе, Сашенька, тяжело будет жить.

– Да отчего же? – удивился я.

– А ты не грубый. Все они какие-то грубые, а ты ласковый.

Я только пожал плечами. А потом в комнатке, когда я представлял себе на той же самой воздушной жаркой перине Панова и старался всю быть грубым, Мария Николаевна вдруг, испугав меня, засмеялась и зашептала:

– Ну что ты, что ты, жизненочек мой, не нужно!

На Преподобную Марию, как раз начинался Великий пост, я подарил ей перстень довольно изящной работы, на который потратил почти что все присланные из дома деньги. Я просто хотел сделать ей приятное, а она заплакала, и я успокаивал ее, и весь тот вечер мы просто проговорили, забыв о соседней комнатке.

У Марии Николаевны было так тепло и покойно, особенно в морозы, и с каждым разом все мучительнее было возвращаться студеными бесконечными улицами в полк пешком – воспитанники не имели права взять извозчика.

Как-то, уже весной, я застал у Марии Николаевны молодого человека примерно моих лет, щуплого, с впалой чахоточной грудью. Мария Николаевна представила нас друг другу. Это оказался ее сын. На столе стоял самовар, Мария Николаевна разливала чай. Юноша сидел, опустив глаза в чашку, мне тоже кусок не лез в горло, хотя видно было, Марии Николаевне очень хотелось, чтобы мы подружились. Извинившись, что неважно себя чувствую, я ушел.

Больше к Марии Николаевне я не ходил. Хотя собирался не один раз, называл себя дураком и не понимал, что такое не пускает меня в теплый уютный дом на Карповке.

Как это бывает обыкновенно, жизнь однообразная, когда дни похожи один на другой, будто солдаты на смотре, кажется мучительной и нескончаемой, а пролетает в один миг. Так и два года, проведенные мною в Дворянском полку, тянулись по-черепаши, а промелькнули, будто ничего и не было, один кошмарный сон.

Помню, как кто-то закричал: “Вышли!” – и все бросились вниз по лестнице, будто боясь, что на последнего не будет распространена высочайшая милость. Выбежав во двор, мы окружили читавшего приказ, и каждому хотелось потрогать своими пальцами заветную бумажку.

С чем можно сравнить чувства, переполнившие свежее испеченного офицера, надевающего в первый раз мундир прапорщика, эту *toga virilis*<sup>9</sup>? Как не простить задорного мальчишества – пройти весь Невский несколько раз из конца в конец без шинели, хоть и морозит еще северный апрель! Нужно было показать на свет Божий свои эполеты, и я в одном сюртуке, конечно, с фуфайкой под ним, отправился на целый день бродить по городу, с замиранием сердца подходя к каждому часовому, а ну как не отдаст честь, но часовые вытягивались в струнку, встречные солдаты снимали фуражки, и, чтобы испытать чашу открывшихся наслаждений до дна, я два целковых прокатал на извозчике.

Я был выпущен прапорщиком в Муромский пехотный полк.

---

<sup>9</sup> Одевание мужа (лат.).

Перед тем как отправиться к месту службы, я получил отпуск и в четыре дня прискакал в Симбирск.

Городок встретил меня майскими цветущими садами. Какими домашними, родными показались мне после Петербурга и Туть, и Куликовка, и Подгорье, не говорю уже о Венце. А когда въехал на Большую Саратовскую, будто вовсе и не было этих двух лет.

Я не вбежал, а влетел на крыльцо. Объятиям, поцелуям, слезам, смеху не было конца. Весь дом переполошился. Суетливо накрывали ужин, послали топить баню. Не знаю, что может сравниться с приездом в родной дом после долгой отлучки.

Матушку я нашел сильно постаревшей и в болезни. Смерть отца она перенесла очень тяжело и винила в ней себя.

В первую минуту мне показалось, что в доме ничего не изменилось, будто я уехал отсюда только вчера. На том же месте висела любимая в детстве картинка с рыцарем, из чрева которого пророс дуб. Все тот же самовар туманил стекла. Все тот же несошедшийся пасьянс был брошен на маленьком столике. Но скоро в гостиную робко вошла худенькая девочка в черном платье, обшитом белым батистом. Тетка моя взяла на воспитание сиротку. Родители ее, симбирские мещане, погибли при ужасных обстоятельствах. По детской шалости в доме начался пожар. Они бросились выносить вещи. Отец замешкался, задохнулся в дыму, и его накрыла обвалившаяся крыша. Мать же, оттого что схватилась за неподъемный сундук, изошла кровью и умерла в нашей симбирской больнице.

Звали девочку Ниной. Это был угловатый ребенок с длинной шеей и большими испуганными глазами. Она смотрела исподлобья, волчонком, все время жалась к тетке, и за весь вечер от нее не добились ни слова. Я хотел приласкать ее и протянул руку, чтобы погладить по голове, но Нина отшатнулась от меня, как от прокаженного. Несчастная эта девочка была некрасива, и в довершение ко всему в углу рта у нее росла родинка, которую хотелось смахнуть, как приставшую крошку.

На Троицу мы переехали в деревню.

В кабинете отца было непривычно чисто и прибрано. Меня поразило только, что еще не выветрился его запах.

Отца похоронили на пригорке, недалеко от нашего березняка. Этот пригорок он заметил давно и даже сам еще набросал скиццы часовни, которую клали мужики, когда мы пришли на могилу.

Матушка рассказала, что перед самой смертью, придя в себя, отец все грозил кому-то. Она переживала, что он так и умер огорченным.

В гроб отца положили, как жил, небритым, в халате – он так велел.

Очень скоро Нина перестала меня дичиться, привязалась ко мне и повсюду бегала за мной как собачонка. Мы ходили с ней в лес, удили рыбу. Я учил ее ездить верхом. Даже когда я устраивался в беседке с книгой и просил ее не мешать, она садилась тихонько в углу, забравшись с ногами на скамейку и уткнувшись подбородком в колени. Я прогонял ее, но она, обиженно надув губы, уходила не сразу.

Приохотить Нину к чтению мне никак не удавалось, зато она могла часами сидеть с теткой над блюдечками с мелкими камушками, которые находили в утиных желудках. Обе обожали сортировать их по величине и цвету и каждый сорт высыпали в особый, аккуратно подписываемый мешочек.

Каждый день, проведенный дома, становился все томительней. Уже началась долгожданная настоящая жизнь, и хотелось делать дело, а не удить рыбу и спать до полудня.

Вместо месяца я не пробыл дома и двух недель.

Тот магический кристалл, в который я пристально вглядываюсь и вижу самого себя – себя ли? – юного прапорщика, то ли загоревшего по дороге, то ли черного от пыли, срывающего,

перегнувшись через борт коляски, одуванчики с обочины, – и тот волшебный камень отшлифован с подвохом. Я вижу себя как бы двойным взглядом. Много ли в нас: в том мальчишке, который спешил в полк и медлил одновременно, то торопя возницу, то, наоборот, радуясь, что слетело колесо с оси, и во мне, теперешнем, общего?

Я смешон самому себе. Не был ли я, то бишь тот молодой человек, мечтателен, самонадеян, глуп? Как гордился он жалкой экипировкой, полученной при выпуске, как косил глаза на кованые медные эполеты, на нитяные вытишкеты, как тщательно чистил на каждой станции сапоги, что годились только во время непогоды для ротных учений. Жалованье в 450 рублей ассигнациями, положенное в то время пехотному прапорщику, казалось ему чуть ли не сказочным богатством.

Тот юноша не знал, что ждет его впереди, но не сомневался ни на минуту, что в полку встретит его настоящее мужское братство. Он хотел служить, и не за жалованье, не за чины, а за совесть, приносить пользу отечеству. Он знал, что его будут любить женщины, причем прекраснейшие из них. Он верил в свою судьбу. В каждой встрече, в каждом слове он видел некое высшее предназначение. Даже губастая девка на какой-то станции под Ардатовом, которая чистила у конюшни толченым кирпичом самовар и улыбнулась проезжему офицеру, вытирая потный лоб красной от кирпичной пыли ладонью, показалась ему какой-то необыкновенной, если и сейчас, через столько лет, я вижу тот двор, заросший лопухами, тучи зеленых мух над выгребной ямой, переливающихся на закатном солнце, себя, выпрыгнувшего из брички размять ноги, пока меняют лошадей. Я обмахиваюсь огромным листом лопуха от вечерней зудливой мошкары. Всякий раз, когда прохожу мимо, сапоги мои отражаются в начищенном самоваре. Девка, измазанная кирпичной пылью, хихикает. Я хочу что-то сказать, что-нибудь легкое, острое, неотразимое, но не знаю что и лишь молча прохаживаюсь туда-сюда, вдыхая запахи то конского пота, то жареной рыбы. Из окон кухни доносился со сковородок треск и шипение масла. Лошади были уже готовы, а я так и не нашелся, что же сказать, и все чего-то медлил. В вечернем воздухе разливалась прохлада, а от брички, нагретшейся за день на солнце, исходил жар. Наконец я плюхнулся на раскаленную кожаную подушку, и ямщик тронул. Я зачем-то оглянулся. Девушка засмеялась, помахала мне своей красной ладошкой и крикнула что-то вслед. Я не расслышал и так и не знаю, что она мне тогда крикнула.

Впрочем, какое все это имеет значение?

Первый же день в полку охладил мой пыл.

Седьмая дивизия была на маневрах в Витебской губернии и располагалась в летних лагерях у Яновичей, страшной дыры, где спилось не одно поколение пехотных субалтерн-офицеров.

Встреча нового прапорщика вышла мало похожей на ту, которую я себе представлял.

Целую неделю шли дожди, земля, и так болотистая, превратилась в непроходимую топь. В палатках все отсырело. Моросило без конца, так что по нескольку дней не удавалось просушить платье. Люди ходили замерзшие, злые, усталые. К тому же в день моего приезда произошло несчастье. По нерадивости молодого солдата разорвало пушку, трех человек убило наповал, нескольких изувечило. В тот вечер мои новые товарищи собрались в одну палатку и, чтобы согреться, угрюмо пили водку, хоть это и было на полевых ученьях запрещено. Все сидели в одном исподнем, промокшая одежда сушилась. В палатке было тесно, сыро, пахло несвежим бельем. Зыбкий свет походной лампы освещал хмурые лица, а рубашки в полумраке отдавали зеленому, будто за эти дождливые дни здесь все поросло плесенью. Разговор был унылым, часто прерывался, и было слышно, как по палатке сыплет с деревьев. Впервые тогда я познакомился с полковыми присказками, заменявшими тосты, вроде: “Едет чирик в лодочке в генеральском чине, не выпить ли водочки по этой причине” или “Один шнапс не шнапс, два шнапса не шнапс, и только три шнапса составляют полшнапса”.

Первая же рюмка ударила мне в голову. Я чувствовал, как взгляд мой становится скользким, а в ушах нарастает эхо. Я знал, что по непривычке к водке первый же мой день в полку может окончиться какнибудь необыкновенно, но отставать от других казалось мне оскорбительным, и я вливал в себя водку из последних сил. При этом я чувствовал на себе неприятные насмешливые взгляды скуластого, атлетического телосложения поручика Богомолова. Сам он опрокидывал рюмку за рюмкой и становился все угрюмей. Всякий раз он чокался со мной и криво улыбался, ожидая, что я откажусь от следующей рюмки, но это только подзадоривало меня.

Рядом со мной на походной койке сидел полный, рыхлый человек, свесив толстые босые ноги в грубых, чуть ли не солдатских подштанниках, капитан Бутышев. Он сидел молча, в общий разговор не вмешивался, то и дело шмыгал широким, тавлинкой, носом и держал свой стаканчик в большом пухлом кулаке. Он вдруг наклонился и прошептал мне на ухо:

– Вам, молодой человек, достаточно, не пейте больше!

Я испугался, что все это слышат, отодвинулся от него подальше и нарочито бодро протянул свою рюмку, куда мне тут же налили водки. Бутышев снова подвинулся ко мне и зашептал:

– Да опомнитесь вы! Зачем вам это? Они дурачатся, сговорились вас напоить, а вы, вы как мальчишка, честное слово!

В холодной отсыревшей палатке уже стало душно и даже жарко, стоял пар. То, что сказал Бутышев, было дико и невозможно. Я просто не мог в это поверить. Хмель уже распоряжался мной, как рука паяца балаганным петрушкой. Намолчавшись за день, я вдруг разговорился. Я видел на себе презрительные, насмешливые, недобрые взгляды, но остановиться было уже не в моих силах. Я вскочил, чтобы произнести тост. Рюмка опрокинулась, и водка пролилась мне на колени.

– Господа! Вот он сказал мне что-то несуразное, – язык мой заплетался, я еле стоял на ногах, – будто бы вы сговорились напоить меня! Господа, ведь это же неправда? Скажите, ведь это неправда?

Я не помню, какую я нес потом околесицу. Кто-то из офицеров в сапогах на босу ногу, в шинели, наброшенной прямо на исподнее, хотел отвести меня в мою палатку, но я вырвался и стал кричать, что я никому не позволю себя оскорблять.

– Вот вы, – кричал я Богомолову, – вы хотите обидеть меня! А за что? Что я вам такого сделал?

Снова меня схватили за руку. Я стал драться, заехал кому-то по носу кулаком. Меня скрутили. Я визжал, кусался. Меня чуть не придушили подушкой.

Пробуждение мое было ужасным. Я очнулся на своей походной койке весь в собственной рвоте.

Что за счастье быть юношей! Я думал, что ничего кошмарнее этой минуты у меня в жизни уже не будет.

Я не знал, как смотреть в глаза моим новым товарищам, но они вели себя так, будто ничего особенного не произошло.

Квартировал я в маленьком флигельке у четы Бутышевых. Отец этого недалекого, но доброго человека выслужился из даточных и был капельмейстером. Видно, с детства у Бутышева осталась любовь к полковым оркестрам, и он, когда бывал пьян, начинал уверять всех, что наши полковые оркестры лучшие во всей Европе.

– Ну что, что они там могут? – горячился капитан и шмыгал своим рыхлым, как хлебный мякиш, носом. – У нас отбирают мальчиков лучших из лучших. Из тысячи, может, из десяти тысяч одного. Но этот один – талант! В шинельке, да Моцарт! А у немцев в музыканты нанимаются всякие проходимцы. Сами посудите, ведь что у них таланту делать в полковой музыке? Под Прейсиш-Эйлау мы целый день слушали австрияков. И что, разве это музыка? Тьфу, а не

музыка! То ли дело наши! А почему? Да потому, что не за деньги играют, а за отечество! А у них? У них там даже чины не выслуживать, а покупать надо! Подумать только, я отечеству моему служу, а они со своим торгуются! Вот что хочешь со мной делай, а не понимаю!

Сам Бутышев играл на флейточке, которую бережно хранил в дорогом футляре. Сперва меня это даже развлекало. Но каждый вечер из-за стены доносились одни и те же три-четыре мелодии, и с каждым днем от этих концертов становилось все тошнее.

Жил Бутышев вдвоем с супругой, оба сына его служили где-то в кавалерии, дочь была замужем, тоже за военным. Капитанша была незаметной, бессловесной на людях женщиной, набожной и совершенно необразованной. Кажется, она не умела даже толком ни читать, ни писать. Однако это безобидное с виду существо было сущим домашним тираном, к тому же, как я скоро догадался, она сильно злоупотребляла водкой. Помню, как, в первый раз услышав за стеной крики, грохот падающих стульев, звон гибнущей посуды, я бросился к ним и стал барабанить в дверь. Шум прекратился, но открывать мне не стали. Я испугался, сам не знаю чего, и принялся со всей силы бить в дверь сапогом. На пороге вдруг появился Бутышев, растрепанный, пьяный, с расцарапанным лицом.

– Александр Львович, прошу вас, не обращайтесь внимания. Жене моей нездоровится. Вы идите себе с Богом, идите.

Я обругал сам себя, что лезу куда не просят, и пошел на свою половину.

Вскоре по прибытии в полк я был откомандирован для набора рекрутов в Нижегородскую губернию, в Кулебаки. Партионным командиром был назначен поручик Богомоллов, тот самый, который так подло опоил меня в достопамятный вечер. Я думал, что после такого мы будем с ним вечными врагами, но он отнесся ко мне впоследствии весьма снисходительно и даже дружелюбно. Этот широкоплечий кудрявый красавец обладал недюжинной силой. Воткнув палец в дуло солдатского ружья, он мог поднять его и держать горизонтально. Солдаты его справедливо считались лучшими в полку во всем, что касалось выправки, маршировки и прочих плац-премудростей. Педагогических хитростей тут никаких не было. Не довольствуясь розгами и фельдфебельскими зуботычинами, Богомоллов сам вколачивал своими кулачищами в солдат необходимые знания. Особенно сильно страдали несчастные мордовцы и прочие инородцы, которые по совершенному незнанию русского языка весьма туго поддавались обучению.

В полку много рассказывали о его отваге. В той командировке мне как раз представился случай убедиться в справедливости этих суждений. Надо сказать, что вообще сборы рекрутов – занятие не из приятных. Только у конченого мерзавца и негодяя не дрогнет сердце при виде того, как матери, отцы, возлюбленные прощаются с этими молодыми людьми, обреченными, иначе не скажешь, на службу отечеству. Наша команда находила этих несчастных юношей запертыми в амбарах, уже под стражей. Местное начальство боялось, что рекруты сделают что-нибудь над собой до передачи их в полк. Тем не менее случаи членовредительства случались. В избе у одного деревенского старосты лежал в сених на ворохе соломы изможденный, посиневший юноша, почти мальчик. Он хотел отрубить себе палец, но бил левой рукой, неловко, и перебил себе кисть. При нас его отправили на телеге под конвоем в Кулебаки, где должен был состояться суд. В основном же в солдаты шли безропотно, кто в молчании, кто с озорной песней, но все напивались так, что рекрутов приходилось выносить и складывать на телеги мертвецки пьяных. На сборном пункте несчастных ждали протрезвление и простая и страшная процедура превращения человека в солдата. Пьяный лекарь вызывает к себе по одному из толпы голых, белых, с красными ногами и руками людей, которые испуганно жмутся друг к другу, смотрит каждому в рот, в промежность, ставит в меру, кричит:

– Два аршина, четыре вершка и пять осьминых!

Потом раздается короткий приказ:

– Лоб! – И обреченного ведут брить к огромному детине, который без конца харкает на пол и ходит босыми ногами по горе волос.



Уже в последний день один из рекрутов сошел с ума, выхватил у солдата-ротозея тесак и стал бегать в беспамятстве по улице. Собственного брата, который хотел его успокоить, он пырнул с размаха в живот. Спятившего рекрута хотели пристрелить, но Богомоллов хладнокровно подошел к нему, увернулся от тесака и кулаком свалил парня с ног. Когда я подбежал, рекрута уже связали, а Богомоллов смахивал пыль с панталон.

– Зачем вы это сделали? – спросил я. – Ведь он мог зарезать вас!

Богомоллов рассмеялся.

– Коли бы спросил себя – зачем, так и не сделал бы.

Этот человек становился мне все интересней, и на обратном пути, поджидая как-то партию в придорожном трактире, мы разговорились.

– Богомоллов, вас считают лучшим офицером в полку. Но вы же бьете солдат. Это свинство. Это же унижает человеческое достоинство, ваше, мое.

Он посмотрел на меня удивленно.

– Вы благородный, неглупый человек, – продолжал я. – Вам должно быть совестно бить людей.

– Милый Ларионов, – услышал я в ответ, – вы правы. Более того, я разделяю ваши убеждения, что путем внушения, а не наказания приличнее всего вести солдата к осознанию своего долга. Но нужно еще, чтобы и солдаты разделяли ваши убеждения. А у нас ведь в России как – не вы побьете вашего слугу, так он побьет вас.

– Неужели человеческое достоинство зависит от местонахождения на ландкарте?

Он снова засмеялся.

– А вы докажите обратное. Вам, Ларионов, дают солдат, так начните с ними говорить на “вы”, откажитесь от битья, организуйте школу, и посмотрим, что из этого получится.

Я вспылил и стал доказывать, что именно так все и должно быть в армии и что я берусь показать на собственном примере, что уважение к человеческой личности даст результаты, которые и не снились розгам.

– Вот и чудно, – сказал Богомоллов. – Держу пари, что не пройдет и трех месяцев, как вы прикажете всыпать кому-нибудь палок, пусть и на “вы”.

В полк я вернулся одержимым. Мне дали солдат, и я принялся за дело со всей горячностью молодости.

Первым делом я отменил телесные наказания и стал говорить “вы” каждому рядовому. Солдаты, все хмурые, бессловесные, доведенные по уставу предыдущими командирами до состояния скотской тупости, смотрели на меня исподлобья, с недоверием, ожидали какого-то подвоха.

Я с жаром принялся за их образование. Начались уроки чтения и письма. Я взялся также читать им лекции по римской истории из Роллена, пересказывая перевод Тредиаковского. Все мои нововведения солдаты воспринимали молча, с привычной покорностью, как и все, что им приказывали делать. С историей еще куда ни шло – рассказы про Сципиона, Гракхов, Брута они слушали как сказки про Бову Королевича. Труднее было с письмом и арифметикой. Мои занятия они воспринимали лишь как дополнительное мучение после нескольких часов муштры и выводили закорючки без всякого прилежания.

Вечерами я присаживался к их костру, проводил долгие беседы о пользе образования, рассказывал им о свободолюбивых героях древности, о чудесах западной цивилизации, достигнутых за счет уважения к личности, о том, как устроена североамериканская республика, и о многом, многом другом, что, как мне казалось, должно было возбудить в этих забитых людях хоть какие-то проблески чувства собственного достоинства. Солдаты слушали меня молча и только трясли над огнем свои рубахи, из которых сыпались в пламя с легким потрескиванием вши.

Пожалуй, я нашел лишь одного благодарного ученика. Им был Устинкин, из новых рекрутов, беззлобный щуплый малый, которого в детстве ошпарили, и у него одна щека и шея были в морщинистых пятнах и бледных, бескровных разводах. Бестолковый во фрунте, задумчивый от природы, растеряха, он больше всех подвергался гонениям на плацу. Да и солдаты, бессильные перед командирами, вымещали свою злобу на этом безропотном существе. Все кому не лень угощали Устинкина затрещинами, пинками. Он единственный проявлял живой интерес к моим занятиям, был сметливым, схватывал все на лету, слушал, приоткрыв свой перекошенный ошпаренный рот, а когда выводил буквы, от усердия наклонял голову так низко к бумаге, что казалось, будто он пишет носом, а не пером.

Устинкин был неразлучен с приبلудной собачонкой, такой же хилой и чахлой, как он сам. Собачонку, всеобщую любимицу, солдаты звали кто Шрапнелью, кто Баранкой – за свернутый хвост. Все ее подкармливали и тискали как ребенка, но бегала она почему-то только за Устинкиным. Она сопровождала нас на все ученья, и даже когда просто кололи штыками куль с сеном, всякий раз вместе со взводом бросалась с лаем на врага. Меня поражало, как эти люди могут делиться с собачонкой последним сухарем и при этом жестоко издеваться над своим же товарищем по несчастью.

Богомоллов как-то после утреннего развода подошел ко мне, дружески потрепал по плечу и сказал:

– Ваши старания похвальны. Но послушайте, Ларионов, неужели вы думаете, что способны что-нибудь изменить? Поверьте мне, это – стена, о которую хорошо разбиваются лбы. Неужели вам не жалко ваших сил, ваших трудов, вашего времени, в конце концов?

Я молчал в ожидании, когда кончится этот беспредметный разговор.

– На носу дивизионный смотр, и я советую вам не заниматься пустяками, а лучше хорошенько помучить ваших солдат!

Даже Бутышев счел своим долгом явиться ко мне и заявить:

– Александр Львович, что вы делаете? Зачем все это? Так нельзя!

– Да почему же? – закричал я, не сдержавшись. – Почему же нельзя?!

– Никак нельзя! – снова повторил капитан свой единственный аргумент.

Все это только подстегивало меня в моих начинаниях. Однако то, что поначалу казалось делом хоть и трудным, но благодарным, на поверку оказывалось почти неисполнимым.

После моих нововведений, направленных на очеловечивание их скотской жизни, я ожидал от моих солдат если не воодушевления, то по крайней мере признательности. Увы, все, что так гладко складывалось в моем воображении, выходило на деле боком. Я делал все, чтобы солдаты поняли и полюбили меня, но они ко всему относились подозрительно, чурались меня, на мои попытки поговорить по душам отвечали уклончиво. Они принимали своего нового офицера за какого-то дурачка и за глаза смеялись надо мной. Видя, что бояться им нечего, они перестали на наших занятиях что-либо делать, теряли тетрадки, карандаши, а потом и вовсе, несмотря на мои уговоры, перестали посещать мою школу. В конце концов у меня остался один только ученик, Устинкин, которого стали травить еще сильнее за то, что он ходил ко мне за книжками. Солдаты мои, обнаружив, что никто их не наказывает, распустились, ничего не хотели делать даже по службе. Я уже не говорю про воровство, на которое чуть ли не каждый день жаловались местные жители. Все мои разговоры о безнравственности подобных поступков имели на них не большее воздействие, чем дуновение ветерка. Обкрадывание солдатского содержания во всех инстанциях, начиная с дивизионных складов и кончая походной кухней, было таким обычным явлением, что ему никто не удивлялся. Отсюда неизбежно вытекало донельзя легкое отношение солдата к чужой собственности. Невозможно было его убедить в гнусности воровства, если этим воровством он поддерживал свое существование.

Разумеется, мы безобразно выступили в дивизионном смотре.

Я был вызван к командиру полка, генерал-майору Рузаеву.

Это была весьма примечательная личность. Наш полковой командир считал себя учеником Суворова и, подобно знаменитому фельдмаршалу, спал на простом сеннике, укрывался шинелью, каждое утро обливался холодной водой, зимой купался в проруби и мог в свои шестьдесят лет сделать, не переводя дыхания, триста приседаний. За наполеоновские кампании Рузаев был награжден Св. Владимиром с бантом, прусским орденом *“Pour la mérite”*<sup>10</sup> и Анненскою шпагой. Сам он иногда горько шутил, что награды нужно раздавать не за военные подвиги, а за поддержание в войсках боевого духа в будни. В этих словах, увы, было много истины.

Когда я вошел к нему, Рузаев набросился на меня и орал с четверть часа. Наконец он остановился, чтобы перевести дыхание, и я сказал:

– Вы можете приказать мне что угодно, и я подчинюсь дисциплине. Но смею вас заверить, что я имею свои убеждения, и никакой приказ не в силе заставить меня изменить их.

Лицо Рузаева покрылось белыми и красными пятнами. Он уже принялся было писать что-то, и теперь перо хрустнуло в его кулаке.

– Молокосос! – прошипел он. – У меня из первой раны вытекло больше крови, чем ты в себе носишь! Ты проживи сначала жизнь, чтобы рассуждать об убеждениях!

– Среди офицеров принято говорить друг другу “вы”, – перебил я Рузаева.

Он хотел еще кричать что-то, но с большим трудом сдержался и сквозь зубы приказал мне отправиться на гауптвахту под арест.

– У вас, господин прапорщик, будет пять суток подумать о многом!

Камера моя, исписанная забавными надписями, выходила окошком в сад. Кусты жимолости так разрослись, что прижались к самой решетке и вполне заменяли шторы.

Я много спал, от скуки насвистывал, пел, листал книжки, присланные Богомоловым. Одним словом, в тюрьме мне было сладостно и покойно, ибо я был убежден, что жить надо в согласии с собственной совестью, а не с начальством.

Я гордо стерпел и арест, и все выговоры, но бить солдат отказывался. Увы, лишь до одного случая.

Как-то перед самой зорей меня разбудили и сказали, что Устинкин покончил с собой. В ту ночь он стоял на часах, и утром его нашли с тесаком в руке. Он перерезал себе горло. Накануне мои солдаты перепились и вновь издевались над ним. Устинкин лежал на спине, неловко вывернув голову ошпаренной стороной вверх, и Баранка лакала кровь прямо из раны. Собаку отгоняли, но она подбегала снова.

Тогда были наказаны только трое, но я был готов пропустить сквозь строй всех.

Прекрасно помню то мглистое, уже с заморозком утро, лужи, покрытые тонким льдом, барабан, особенно звонкий от морозного воздуха, пронзительную флейту. Помню злые, ненавидящие глаза осужденных. Помню, как они снимали рубахи, как их руки привязывали к прикладам, как падали на их спины первые удары, помню их звериные крики. Впервые при этой страшной экзекуции я испытывал чувство удовлетворения.

В то время создавались печально знаменитые военные поселения, которые, по замыслу Александра, должны были преобразовать Россию.

В разряд поселенных войск переводился и наш Муромский полк, входивший в состав 7-й дивизии. Мы были в числе тех 50 батальонов, которые призваны были устроить в новгородских болотах островки порядка и изобилия, чтобы служить потом образцом для переустройства всей империи.

Понятно, что среди офицеров живо обсуждались готовившиеся перемены. Я оказался едва ли не единственным горячим защитником преобразований. Теперь я убеждал моих това-

---

<sup>10</sup> За заслуги (*фр.*).

рищей, что принудить Россию к цивилизации и порядку – единственный наш способ поспеть за Европой. Большинство же офицеров относилось к исполинской затее скептически. Их больше волновало не переустройство отечества, а огромное количество забот, связанных с переездом с насиженных мест, обустройством в глухих болотах, страшило оказаться под бдительным оком графа Аракчеева, отвечавшего перед царем за этот проект. Я доказывал им, что эта идея цивилизовать нашу дикую страну равняется по размаху лишь с замыслами Петра и может принадлежать только великой душе. Задуманные перемены должны были покончить со злоупотреблениями и безобразиями, губящими страну, прекратить раз и навсегда страдания наших низших сословий и приучить наш отсталый народ к правильному хозяйствованию, к труду, образованию, чистоте, в конце концов. Александр хотел пойти дальше своих великих, но бессильных перед этой страной предков. Петр, несмотря на гигантские, нечеловеческие усилия, лишь придал нашей дикости несколько благообразных черт. Прекраснодушная Александрова бабка, даровав части нации свободу, тем самым сделала остальных рабами и, увидев, что большего достичь пока невозможно, занялась войнами. Павел ограничил барщину тремя днями, стал основывать гимназии, университеты, но, будучи от природы нервным человеком, от всей русской бестолковщины быстро сошел с ума. И вот Александр поставил перед собой великую, благородную задачу вытянуть наше отечество наконец из тьмы и грязи и принялся за выполнение ее единственным доступным здесь способом. Для того чтобы проложить тут дороги, построить человеческие дома, начать хозяйствовать, а не истощать попусту и так тощую землю, одним словом, чтобы европеизировать Россию, надобно столько средств и сил, что решить эту задачу по силам лишь исполинской военной машине, ибо тогда все решается приказом, а не выполнить приказ никак нельзя. Этих людей, доказывал я, нужно учить добру хворостинкой, как малого ребенка, и приводил в пример далеко не добровольное распространение у нас картофеля и вовсе уж насильное прививание оспы. Со мной соглашались, но от военных поселений с самого начала ждали чего-то недоброго.

Бутышев украдкой крестился и вздыхал:

– Когда ты оставишь в покое страну эту, Господи?..

Вместо бедственной рекрутской повинности, лежавшей тяжким бременем на всей стране, предполагалось на первом этапе сосредоточить способы составления войск лишь в некоторых округах, приближенных к границам, освободив другие области от рекрутства, кроме случаев войны. Население этих округов составлялось из коренных обитателей и из войск, вознаградив соразмерными выгодами первым обязанности, вновь на них налагаемые, и доставив вторым поземельную оседлость. Проектом предусматривалось наделить поселян достаточно землею, устроить их дома и пополнить все потребности за счет казны, освободить от уплаты всех казенных податей и земских повинностей. Старым, увечным и немощным доставлялся покой и призрение, для лечения больных вводились отсутствовавшие напрочь в крестьянской жизни больницы, для инвалидов – инвалидные дома. Солдат соединялся со своим семейством, не отрывался от места своей родины, был неразрывно связан с домашним бытом. Малолетним давались воспитание и образование, для кантонистов устраивались школы – таким образом, в наш темный народ вводилось образование. Добывание продовольствия для войск собственными их трудами сокращало издержки на их содержание. Уничтожалась бедность, и все уравнивались в материальном отношении, беднейшим полагалось от казны все, чего они не имели по вводившейся табели имуществ. А главное, улучшалось не только благосостояние, но нравственность – и приличным воспитанием, и семейной жизнью, и правильным трудом, и строгим запретом на пьянство. Оседлость в поселениях должны были получить только лучшие солдаты действующих войск, прослужившие на службе не менее шести лет, преимущественно женатые и до поступления на службу занимавшиеся земледелием. Они наделялись бесплатно землей, домами, орудиями, домашним скотом и упряжью, довольствовались жалованьем и обмундированием, получали в первые годы поселения провиант на себя, на жен и детей своих, на кото-

рых, сверх того, отпускалось особое пособие. От походов поселенные войска избавлялись. Все приобретенное ими честным трудом от разведения скота и улучшения хлебопашества должно было составлять их неотъемлемую собственность. Коротко говоря, военные поселения должны были если не осчастливить Россию, то обеспечить ее жителям благосостояние и приучить их к человеческой жизни.

На кого ж теперь пенять, что добрые начинания на бумаге вышли злыми делами на старорусских болотах, что самые слова – военные поселения – сделались синонимами несчастья и рабства? На Аракчеева?

Что ж, отчего бы не попенять на покойного. Он ничего не ответит.

Наш батальон был поселен рядом с какой-то Михайловкой. Вопреки приказу, связи, в которых должен был разместиться батальон, еще не были готовы, и всю осень до самых морозов мы жили в палатках и курных крестьянских избушках.

Целую осень мои солдаты рубили лес, жгли, рыли корни и успели расчистить для пахоты какие-то жалкие десятины. Вообще, по почве вряд ли найдешь земли хуже Новгородской губернии, и мало понятно, почему именно на эту пустошь был брошен жребий. Офицеры недоумевали, каким образом там, где на топях и болотах крошечная деревня не могла накормить сама себя, сможет существовать тысяча человек, обязанная кормить еще два действующих батальона.

Зимой началось обучение мужиков военному строю и обращению с оружием. Требовать от несчастных крестьян исправной вытяжки носка и безукоризненного исполнения ружейных приемов в двенадцать темпов все в батальоне считали верхом бессмысленности и смотрели на эти учения сквозь пальцы. Служба в основном ограничивалась караулами, все остальное время новообращенные солдаты валялись на печи.

К нашему появлению в Михайловке мужики уже были все обриты и в мундирах. Видно, пример крестьян, уже ранее превращенных в солдат, убедил их, что жаловаться бесполезно, а палок на всех хватит – слухи об усмирении нескольких раскольничьих деревень ходили самые страшные. Рассказывали, как сюда приехал сам генерал Маевский, правая рука графа, и крикнул согнанным мужикам: “Ставлю бочку водки! Кто хочет пить, тот скорее одевайся!” В четверть часа сотни были обриты и одеты и с песнями шли домой солдатами. Одетыми еще в свои одежды бегали пока мальчишки, обращенные в кантонистов. Шитье мундиров для поселян не поспевало за приказами. Лишь поздней осенью, когда уже выпал снег, поселенный батальон получил шинели, а кантонисты – свою форму. Помню, как эти дети с радостью примеряли себе мундирчики и торопились надеть их.

Учеба если и устраивалась, то лишь для вида. Чаще, если не было никого чужих, обучение препоручали унтер-офицерам, а сами собирались греться в какой-нибудь дом поблизости, выставив во все стороны соглядатаев. Не дураками в свою очередь были и унтер-офицеры, придумывавшие свои уловки. Одним словом, вся служба была сплошным обманом начальников согласно субординации и существовала лишь на бумаге – в пухлых отчетах и рапортах.

Рузаев открыто при подчиненных ругал поселения, говорил, что Аракчеев затеял эту бессмыслицу, чтобы выслужиться.

– Невозможно быть одновременно офицером и агрономом! – сказал он однажды громко после общего угрюмого обеда, когда ему поднесли какой-то очередной пакет от начальства. – Я отвечаю перед Богом и царем за Отечество, а не за посевы.

Злые языки рассказывали, что Рузаев был со всесильным графом когда-то в одном корпусе, даже дружил с ним, но потом, посчитав его выскочкой и блюдолизом, презрительно порвал их дружескую связь. Теперь же он оказался у Аракчеева в подчинении. Говорили, что Рузаев подал графу рапорт об отставке, но тот разорвал его, обнял генерала и попросил служить, сказав, что ему нужно дело, а не амбиции. Как бы то ни было, Рузаев остался в полку,

но теперь мстил своим откровенным *far niente*<sup>11</sup>. Если раньше каждый день он как заведенный носился с утра до ночи по расположению полка, заглядывая и на ученья, и в лазарет, и в солдатский котел, представляя собой живое и грозное напоминание о службе и долге, то теперь его почти не было видно. Всегда крепкий, источающий бодрость и здоровье, с румянцем на лице, Рузаев осунулся, ссутулился, обрюзг. Старик перестал обливаться холодной водой, хотя все знали, какую это доставляло ему раньше радость. Он ездил уже не верхом, а в коляске, глаза его выпцвели и смотрели на все равнодушно. Казалось, генерал махнул на полк рукой, представив все дела канцелярии. У него под носом процветало воровство, которое все прекрасно видели, и раньше Рузаев не допустил бы этого, вывел бы воров на чистую воду, но теперь он или ничего не замечал, или делал вид, что ничего не замечает.

На содержание поселенных крестьян, особенно в первое время, отпускались огромные средства, но деньги эти по пути к своему назначению частенько прилипали к чьим-то рукам. В нашем полку многие поселяне-хозяева при водворении своем не получали для первоначального заведения положенных им лошадей, коров и многого другого из хозяйственных надобностей, тогда как деньги были потрачены и коровы числились по приказу уже за поселянами. Приходилось изобретать мор, внезапно поразивший скот, а то и списывать все на пожар, и таким образом корова обходилась казне в два, а то и в три раза дороже. Исчезал в большом количестве и казенный провиант. От приказа до рта долгий путь. Сперва этот провиант доставлялся в батальон, оттуда в роты, потом раздавался по капральствам и, переходя из рук в руки, редко доходил до крестьян. Да и уличить в воровстве было почти невозможно. Те, кого обворовывали, подчас не знали вовсе, в чем именно они обделены. Когда же требовался отчет в том, куда ушли средства, все бумаги были всегда в полном порядке. Иногда воровство принимало совсем узаконенные формы. Например, так было с деньгами, что зарабатывали солдаты на общественных работах. На руки их не выдавали, но говорили, что они тратятся на улучшенную пищу, так что работали солдаты за один хлеб насущный, что вроде бы считалось очень выгодно казне. Оставалось только желать, чтобы даровая работа была еще и самая лучшая.

Иногда только Рузаев взрывался и изливал кипевшую в нем желчь на того, кто подворачивался под руку. Так, в видах предупреждения пожаров приказано было иметь в каждой избе фонарь со свечой, и никто не смел выходить ночью во двор без фонаря. Крестьяне же, привыкшие к лучинке, видели в том прихоть начальства и делали все по-своему. От неосторожного обращения с лучиной в первой поселенной роте случился пожар, и сгорело несколько сенных сараев. Испуганную, зареванную бабу, виновницу случившегося, Рузаев самолично приказал сечь нещадно, хотя в чем было винить эту темную женщину?

Весной начались полевые работы.

Видя, что и скот, и зерно, и сельскохозяйственные орудия принадлежат скорее табели обязательного имущества, чем им самим, поселяне проявляли к работе охоты не более чем к маршировке, к тому же первые три года казна обязывалась содержать поселенные войска. Картина же поселян, вышедших в поле, представляла собой удручающее зрелище. Всем своим видом они как бы говорили, если б могли выражаться на великом языке древних, – *Nihil habeo, nihil curo*<sup>12</sup>.

Я спал по несколько часов в сутки. С раннего утра до позднего вечера я метался по расположению нашей роты, за всем следил, всюду, где это было возможно, наводил порядок, делал все, что было в моих силах. Меня бесило, что все разваливалось на глазах и из-за нерадивости поселян, и из-за наплеватьства офицеров. Без личного участия, без крика, угроз дело не шло. От бесконечной ругани я осип, мне некогда было толком поесть, отдохнуть, переодеться. Другие же офицеры, собравшись где-нибудь в укромном месте, или играли в карты, или тихо

<sup>11</sup> Безделье (*итал.*).

<sup>12</sup> Ничего не имею – ни о чем не забочусь (*лат.*).

пили. Их вполне устраивала обещанная Аракчеевым прибавка к жалованью, а что будет с солдатами и их семьями, этих господ волновало мало. Особенно возмущало меня поведение Богомолова.

Помню, как весной, когда шли самые горячие полевые работы, пришел нелепый приказ об учебе на фортификациях, и мы сидели с ним на пригорке под березами, глядя, как солдаты роют шанцы.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.